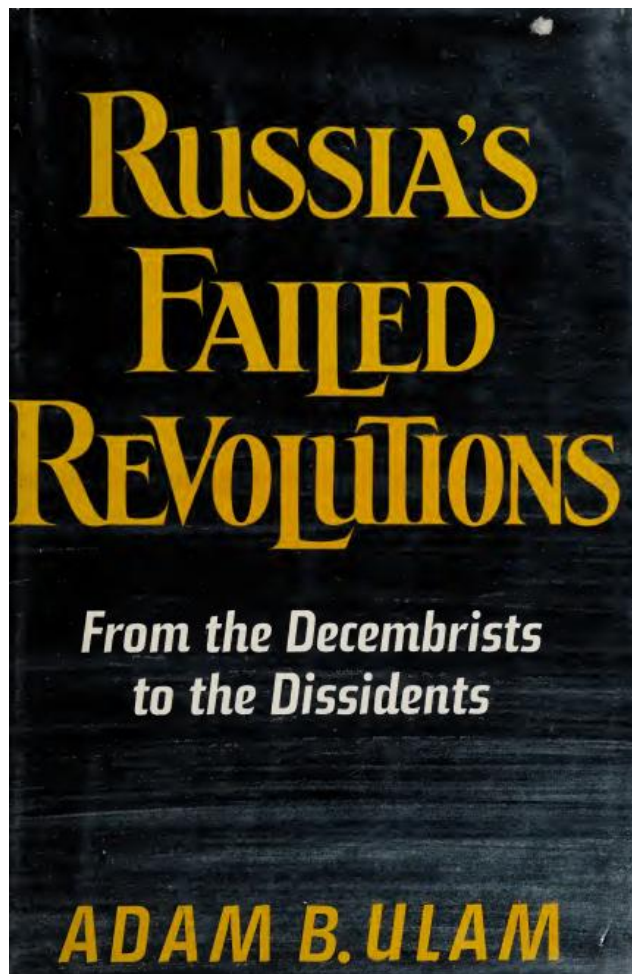


Адам Б.Юлам

ПРОВАЛИВШИЕСЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

От декабристов до диссидентов



АННОТАЦИЯ

С 1815 года и до наших дней борьба за политическую и интеллектуальную свободу остаётся постоянной темой русской истории. Однако эта борьба длилась лишь очень короткими промежутками, ибо Россия была и остаётся репрессивным обществом, управляемым авторитарным правительством. Ни одна из её бесчисленных либеральных революций и реформаторских движений не увенчалась успехом. Почему?

Именно этот центральный парадокс русской истории и его последствия для будущего и рассматривает в данном кратком исследовании выдающийся историк Адам Б. Юлам, автор фундаментальной биографии Сталина и ведущий специалист как по прошлому, так и по современной истории России. Начиная с abortивного восстания декабристов 1825 года, он прослеживает различные движения, которые время от времени безуспешно стремились к равенству через необычайный экуменический популизм 1860-х и 1870-х годов, трагические революционные драмы 1905 и 1917 годов, и завершает повествование возрождением инакомыслия в Советском Союзе сегодня.

Как пишет профессор Юлам в этой поистине замечательной истории, она полна иронии, трагических недоразумений и упущенных возможностей. Но главное достоинство книги — блестящая традиция, которую она выявляет: от неспособности приспособиться к национализму; от времени к времени национальный импульс, первоначально вызванный недовольством, разворачивался и становился оружием самих авторитарных государственных структур. Но этот процесс, как отмечает автор, не является неизбежным, и возможно, что русскому национализму, который слишком часто становился оправданием государства, в будущем суждено стать силой инакомыслия и подлинной реформы.

АДАМ Б. ЮЛАМ — профессор истории и политической науки, а также директор Русского исследовательского центра Гарвардского университета. Среди других его книг: *In the Name of the People: Prophets and Revolutionaries in the Russian Revolution* (пересмотренное издание, 1977), *The Bolsheviks* (1965), *Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy, 1917–1973* (пересмотренное издание, 1975).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга не претендует на то, чтобы быть систематической историей русской революционной традиции. Скорее, она стремится ответить на вопрос: что именно в решающие моменты мешало благим намерениям российских революционеров и реформаторов? Начиная с декабристов, книга завершается обсуждением смысла и перспектив современного инакомыслия и его последствий для будущего свободы в России и за её пределами.

Этот труд, как и несколько моих предыдущих, многим обязан крестьянской и интеллектуально бодрящей атмосфере Гарвардского Русского исследовательского центра. Среди моих многочисленных друзей и коллег хочу особо поблагодарить мою ассистентку миссис Кристин Балм, а также Билла Фирмана и Мишу Цыпкина, оба из которых помогали в работе над этой книгой.

Адам Б. Юлам
Кембридж, Массачусетс

ГЛАВА 1

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БУНТОВЩИКИ: ДЕКАБРИСТЫ

Эта скорбная церемония была задумана Николаем I с той же педантичной тщательностью, которая позднее станет отличительной чертой всего его тридцатилетнего царствования. Ей надлежало стать эпилогом истории декабристов — людей, которые при восшествии Николая на престол попытались совершить военный переворот, чтобы низложить его и покончить с самодержавием в России. За один день, 14 декабря 1825 года, плохо подготовленное восстание было подавлено. Теперь осуждённых мятежников должны были публично опозорить на глазах их бывших товарищей и солдат.

В ночь на 13 июля 1826 года, в два часа, более ста бывших офицеров вывели из камер во двор Петропавловской крепости, окружённый подразделениями всех полков петербургского гарнизона. Каждого узника по очереди ставили на колени перед его бывшим полком. Унтер-офицер ломал шпагу над его головой, срывал эполеты и знаки отличия. Затем осуждённых лишали мундира и одевали в арестантские балахоны. С этого момента они переставали быть офицерами и дворянами и превращались в преступников, лишённых гражданских прав. После этого бывших мятежников уводили обратно в камеры — ждать долгого пути в кандалах, в большинстве случаев в Сибирь.

Пятерых заговорщиков освободили от этой позорной церемонии: в дальнюю дорогу им уже не предстояло отправляться. Их ожидала лишь короткая прогулка через двор — к виселице, поставленной накануне у края крепостной ограды. Перед ней они выслушали последнюю религиозную службу, и к четырём часам утра были готовы к заключительному действию.

Хотя смертная казнь в России была отменена, вина этих пятерых была признана столь великой, что их приговорили к четвертованию. Император, негласно направлявший работу суда из-за кулис, затем распорядился изменить способ казни в духе просвещённого века: вместо четвертования — повешение.

Все пятеро происходили из разной среды и играли в событиях, приведших их на эшафот, разные роли. В сущности, каждый из них мог служить образцом особого типа бунтовщика, каждый по-своему предвосхищал один из видов революционеров, которым предстояло заполнить русскую политическую сцену вплоть до 1917 года.

Пётр Каховский ближе всего подходил к патологическому типу революционера — человека, внутренне одержимого крайним делом, будь оно левым или правым, и готового ради него убивать. Кондратий Рылеев, поэт и мечтатель, принадлежал к тем людям, которые всегда готовы бороться с общественной несправедливостью, даже ценой безрассудной авантюры, и которые одним своим энтузиазмом умеют преодолеть колебания и сомнения товарищей. Михаил Бестужев-Рюмин был самым молодым из них — во время восстания ему было двадцать два года. Горячий, по-детски увлечённый заговором и интригой, он не пользовался особой симпатией у товарищей.

Двое других выделялись даже среди всего круга декабристов: Сергей Муравьев-Апостол — нравственным складом, Павел Пестель — интеллектуальными качествами. Муравьев был тем, кого, хоть и чрезмерно часто, всё же справедливо называют идеалистом. Наследник огромного состояния и знаменитой фамилии, он вступил на путь заговора и бунта из отвращения к тому, как в русской армии обращались с простым солдатом. После провала 14 декабря, когда уже было ясно, что переворот не удался, Муравьев-Апостол всё ещё пытался поднять мятеж, увлекая свой полк в самоубийственное предприятие.

Павел Пестель считается самой выдающейся и вместе с тем самой загадочной фигурой среди декабристов. Немец по происхождению, блестящий офицер, которого когда-то прочили к высшим военным назначениям, он вместо этого избрал дорогу, которая привела его к виселице. Мыслитель и писатель, а также практик заговорщического ремесла, он стоит первым в длинном ряду революционеров, соединявших в себе деятеля и теоретика, — традиции, которая однажды породит Ленина. И по своей склонности к уравнительности, соединённой с авторитарностью, Пестель из всех декабристов ближе всего стоял к предтече большевизма. Товарищи не без основания подозревали в нём диктаторские замыслы.

Когда осуждённые встали перед виселицей, приговоры были зачитаны ещё раз. Все, кроме Бестужева-Рюмина, которого пришлось силой втащить на помост, держались спокойно и с достоинством. Они обнялись, им завязали глаза, и палач приступил к своему делу. Тут произошёл случай, ещё более усиливший ужас происходящего. Когда люк раскрылся, трое осуждённых оказались слишком тяжелы для веревок и, оставаясь в живых, упали в ров. По апокрифическому преданию, Муравьев, один из троих, крикнул: «Какая несчастная страна! Тут даже вешать как следует не умеют».

Прошло некоторое время, пока не принесли новые верёвки; на этот раз палач, подгоняемый бранью командующего офицера, сделал своё дело, и дикий обряд завершился. Царское правосудие превратило пятерых неудавшихся заговорщиков в мучеников, чья легенда должна была вдохновлять и поддерживать будущие поколения русских революционеров.

Что же привело всех этих людей — в большинстве своём дворян, некоторых с блестящими перспективами — на дорогу, которая привела их к двору Петропавловской крепости? Один ответ подсказал Пушкин в стихах, предназначенных для «Евгения Онегина», но по понятным причинам не вошедших в печатный текст. Он писал о декабристах, многих из которых хорошо знал: «... Заговоры рождались за вином, в дружеских беседах, среди сатирических песен и политических споров. Но за этим часто стояло не столько зрелое революционное намерение, сколько молодое возбуждение, порожденное скукой, праздностью и жаждой сильных впечатлений. Взрослые люди нередко предавались тогда почти юношеской игре в заговор»¹. Это, однако, было не последнее пушкинское слово о значении драмы декабристов.

Но и в начале история была не просто «безумной игрой». Правда, толчком послужила та жажда действия, которая часто овладевает молодыми людьми, когда после ярких, бурных времён их

¹ А. С. Пушкин, Сочинения, V (Москва, 1957), с. 213.

вновь отталкивают в серую повседневность. Эпопея наполеоновской эпохи только что завершилась, и цвет русской молодёжи успел пережить сначала воодушевление от победы над до того непобедимым врагом на родной земле, а затем — торжественный марш по Европе.

Для них, как и для остальных русских, император Александр I воплощал волю народа отразить нашествие и положить конец наполеоновской тирании над другими народами. Его прославляли как освободителя Европы и вершителя её судьбы. Но, вернувшись к своему народу, Александр вновь стал самодержцем. Тот самый человек, который настаивал, чтобы Бурбоны, возвращённые им на престол, даровали Франции конституцию, и который собирался наделить представительными учреждениями своих польских подданных, продолжал править Россией как абсолютный монарх.

Император не подавал и признаков того, что намерен заняться насущными общественными болезнями страны. Большинство русских крестьян оставалось крепостными; крепостное состояние большей части нации было и симптомом, и главной причиной её отсталости. С окончанием войны профессиональная жизнь молодых офицеров снова свелась к бесконечным парадам и муштре. Те из них, кто был более склонен к размышлению, были глубоко поражены тем, что увидели на Западе. Они не могли не задумываться о том, как при всей своей военной мощи империя по части политических и общественных учреждений, экономики, образования — словом, всего, что составляет цивилизацию, — отстаёт от Франции, Англии и даже мелких германских княжеств.

Чувствительный человек не мог оставаться равнодушным к одной из самых мрачных сторон русской жизни — драконовской дисциплине в царской армии, где даже за мелкие проступки или ошибки на строе солдат пороли, и порой жертва умирала под кнутом.

Именно горячее желание исцелить Россию от подобных зол побудило шестерых молодых гвардейских офицеров в феврале 1816 года создать тайное общество. Сначала оно называлось Союзом спасения, а вскоре получило и дополнительное имя — Общество истинных и верных сынов Отечества. Инициатива исходила от Александра Николаевича Муравьёва, которому в двадцать три года он уже был полковником и многократно награждённым ветераном наполеоновских войн. Его товарищами стали князь Сергей Трубецкой, Иван Якушкин и трое родственников и тёзок Александра, среди которых был Сергей Муравьёв-Апостол.

Четыре Муравьёва на этом историческом собрании! Но имя этого знаменитого рода вообще необычайно часто встречается в русской истории XIX века. Среди них были крупнейшие генералы страны, прославленные имперские наместники, высокие гражданские и судебные чиновники, послы, а также — знаменитые мятежники. Политическая двойственность русского правящего слоя особенно наглядно проявилась в карьере Михаила Николаевича Муравьёва, брата Александра. Ранний участник тайного общества, после восстания он был арестован вместе с другими декабристами, но сумел оправдаться и был освобождён. Бывший заговорщик дожил до того, что стал классическим образцом жестокого и реакционного царского бюрократа; его роль в подавлении польских восстаний 1830–1831 и 1863 годов принесла ему в истории имя Муравьёва-Вешателя.

К концу первого года Союз спасения насчитывал четырнадцать членов, по происхождению и жизненному опыту сходных с первоначальной шестеркой. Среди них был и Павел Пестель. В своей организации и структуре тайное общество было смоделировано по образцу масонской ложи, что отражало как масонские связи его членов, так и попытку придать зарождавшемуся политическому заговору прикрытие. Масонство тогда было весьма модным в русских высших кругах. Власти относились к нему терпимо, хотя и без особого восторга, будучи традиционно подозрительны ко всяким частным объединениям, не имевшим чисто светского характера.

В конце первого года существования общество приняло устав. Его члены обязывались добиваться введения конституционной монархии, уничтожения крепостного права и ограничения влияния иностранцев в правительстве. Для России это было новым явлением: программу политического действия формулировала уже не власть, а группа частных лиц. Само по себе это не было чем-то сенсационным. Конституционные идеи часто высказывались в более прогрессивных гостиных Петербурга и Москвы; в ранний либеральный период царствования Александра подобные дискуссии шли и внутри самого правительства.

Широко и открыто роптали и на то, что так много высоких постов в гражданской и военной администрации занимали иностранцы, главным образом немцы, — не только из балтийских провинций, давно бывшие русскими подданными, но и недавние приезжие, некоторые из которых даже не удосуживались как следует выучить язык новой родины. [Классическим примером был министр иностранных дел граф Карл Нессельроде, родившийся британским подданным; его отец был немцем, а мать — еврейкой.]

Но устав шёл дальше простых пожеланий и формулировал программу, явно отдававшую подрывной деятельностью. Союз спасения должен был значительно расширить своё членство и проникнуть в высшие круги армии и гражданской бюрократии. После смерти императора заговор должен был выйти наружу, и его участники отказались бы приносить присягу новому монарху, пока он не отменит самодержавие и не введёт систему национального представительства.

С точки зрения закона программа была, разумеется, подрывной; но по меркам XIX века она была не слишком революционной. Тогда Александру I было тридцать девять лет, он казался вполне здоровым, и заговорщики полагали, что им придётся ждать своего часа до среднего возраста.

Политически умеренные, по крайней мере поначалу, эти молодые люди по темпераменту были горячими. Неудивительно, что некоторых из них тяготило требование ждать двадцать или тридцать лет, пока исполнятся их мечты. Существовал очевидный способ сократить ожидание. Уже осенью 1816 года Михаил Лунин, самый порывистый из первоначальной группы, «друг Марса, Вакха и Венеры»², как назвал его Пушкин, предложил похитить и убить императора. Но товарищи единодушно отвергли эту идею, считая, что Россия ещё совсем не готова к

² Пушкин, Сочинения, V, с. 212.

революции. Кроме того, тайному обществу, состоявшему всего из четырнадцати человек, пришлось бы захватить власть после смерти государя.

По-видимому, это и впрямь было больше делом кларета и шампанского, чем серьёзным планом политического террора. У Лунина была и другая, более серьёзная сторона натуры: он отличался большой рыцарственностью и глубокими религиозными убеждениями. Поэтому почти невозможно представить его участником или организатором реального убийства.

То, что мысль о цареубийстве возникла у декабристов столь рано, свидетельствует о внутренней двойственности движения. Его члены, и вполне справедливо, считали себя прежде всего реформаторами, трезво смотревшими на русскую политическую действительность. Но эта умеренность сочеталась с определённым революционным нетерпением и тягой к насилию. Не одной лишь театральностью, унаследованной от масонских формул, объясняется мрачная статья устава Союза спасения: «Всякое предательство общества, разглашение его тайн, малейшая нескромность будут караться смертью. Ни один изменник не уйдёт от кинжала или яда».

Правильное понимание реального положения вещей в России подсказывало, что страна не готова к резким переменам, что потребуются время и терпеливая работа — проникновение в государственный аппарат и воспитание общественного мнения — чтобы подготовить её к свободным учреждениям. Но с другой стороны, дух эпохи, уже отчасти романтический и экзистенциальный, внушал мысль, что борьба между свободой и самодержавием не может завершиться политическим торгом и конституционными реформами, а решается лишь борьбой и актом воли.

Интеллектуально ведущие декабристы, как и большинство молодых русских аристократов, были воспитаны в рационалистическом духе XVIII века; их учили верить, что человек определяется средой, а прогресс зависит от мудрых учреждений и законов, дарованных просвещённым монархом или законодательным собранием. Но эмоционально молодые реформаторы всё более подпадали под чары романтизма; Байрон и Шиллер, которых в России читали с жадностью, прославляли врождённую мудрость и добродетели простого народа, рассказывали о вечной борьбе между свободой и тиранами и показывали, как героический поступок одного человека или горстки людей может резко изменить ход этой борьбы.

Поэтому неудивительно, что идея цареубийства продолжала манить и преследовать заговорщиков. Вновь она всплыла почти ровно через год после вспышки Лунина. Большинство декабристов тогда находилось в Москве, куда их полки сопровождали императора во время его продолжительного пребывания там. На одном из собраний Александр Муравьёв вслух прочёл письмо из Петербурга: один из членов сообщал сенсационную новость — будто бы он узнал из достоверных источников, что Александр собирается отделить от империи некоторые губернии и передать их полякам. [После Венского конгресса центральная часть прежней Речи Посполитой была преобразована в Польское королевство, которое навечно передавалось под скипетр русского царя. Александр обещал править им как

конституционный монарх и не раз намекал полякам, что когда-нибудь возвратит им провинции, которые Россия присоединила в результате разделов 1772 и 1793 годов.]

Заговорщики пришли в ярость. Достаточно было уже того, что Александр наносил удар русскому национальному самолюбию, даруя Польше конституцию; но упомянутые области, хотя среди помещиков там и преобладал польский элемент, по составу крестьянского большинства были преимущественно украинскими и белорусскими и, следовательно, по тогдашним понятиям, по существу русскими.

Много позднее Иван Якушкин вспоминал, что произошло после чтения письма с этим роковым известием.

Убедившись, что товарищи верят слуху и считают дальнейшее правление Александра губительным для страны, он заявил, что готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы спасти Россию, и попытается убить императора. Другие потребовали, чтобы им позволили разделить риск и чтобы убийцу выбрали жребием из всех присутствующих, но Якушкин отказался, не желая подвергать их столь великой опасности.³

На другой день товарищи сообщили Якушкину, что слух оказался совершенно ложным. Однако молодой человек был так потрясён и тем, что его ввели в заблуждение, и тем, что ему не дали пожертвовать собой, что порвал с ними отношения и в течение трёх лет не хотел иметь ничего общего с тайным обществом.

Идея цареубийства чрезвычайно притягивала воображение заговорщиков; однако решиться на её осуществление они так и не смогли. Причины этого многое говорят не только о самих декабристах, но и вообще о русском революционном движении всего XIX века.

Увлечение политическим террором чаще всего отражает сознание собственной слабости и раздражение от очевидной невозможности добиться цели иными средствами. Так было и с декабристами. В конце концов они сумели привлечь на свою сторону сотни сочувствующих и единомышленников. Но даже тогда голые факты политики издевались над их мечтами и планами. Политическая власть и авторитет в России всецело покоились в руках императора.

В стране не существовало ничего, подобного французским Генеральным штатам 1789 года, переход которых на сторону реформ мог бы придать революции размах. Сенат — высший судебный и административный орган империи — и Государственный совет были всецело созданием царя и не обладали самостоятельным авторитетом. Не было и такого классового интереса, который можно было бы противопоставить самодержавию во имя политических перемен.

Если декабристы в каком-то смысле и представляли собой цвет своего сословия и офицерского корпуса, то всё же были лишь небольшой их частью, тогда как подавляющее большинство дворян держалось старого порядка и страшилось всяких перемен, которые могли бы затронуть их права над крепостными. Россия ещё не имела среднего класса в западном смысле слова.

³ Материалы по восстанию декабристов, III (Москва, 1927), с. 52.

Громадная масса крестьянства пребывала в невежестве и потому считалась невосприимчивой к политическим идеям. Отсутствие каких бы то ни было независимых источников власти прекрасно выражала фраза безумного императора Павла I, который на вопрос иностранного посла о том, кто из его министров особенно важен, ответил: «Тот, кто в данную минуту со мной разговаривает — и только пока разговаривает». Россия была не только самодержавным государством, но и обществом рабской покорности; именно эта покорность, хотя и порождала революционеров, делала их задачу почти безнадёжной.

Парадоксально, но при всей кажущейся неподвижности страны перед политическими переменами Россия была чрезвычайно уязвима для революционного насилия. Большинство правителей от смерти Петра Великого в 1725 году до вступления на престол Александра I в 1801 году возшли на престол в результате заговора, обычно совершённого горсткой придворных и офицеров гвардии. Несколько монархов были свергнуты силой; двое — Пётр III и Павел I — были убиты.

Но эта цепь насилия не меняла сущности монархии; новый правитель мог оказаться более либеральным и просвещённым, чем предшественник, но правил столь же самодержавно — непосредственно или через фаворитов.

Помимо дворцовых переворотов Россию потрясали народные бунты. Аполитичность низших слоёв не означала, что они всегда безучастно терпели строй, основанный на их эксплуатации. Их невежество и страдания время от времени позволяли самозванцу, выдававшему себя за недавно умершего царя, поднять народное восстание. Тогда по деревне прокатывалась волна анархии, по стране бродили вооружённые шайки, грабя и убивая без разбора, особенно помещиков и чиновников, пока восстание не удавалось подавить средствами порой не менее варварскими, чем сами мятежники.

Восстание Пугачёва 1773 года, возглавленное неграмотным казаком, выдававшим себя за Петра III, охватило огромные пространства Урала и нижнего Поволжья и было подавлено только крупной армией. Пушкин выразил чувство всякого образованного русского, написав о нём: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».⁴

Однако принципы и происхождение декабристов не позволяли им искать власти ни через дворцовый переворот, ни через поджог всегда готового к возгоранию материала — нищеты и страданий русской деревни. Переворот 14 декабря 1825 года действительно будет содержать в себе и элементы самозванства, и черты дворцовой революции, но сделан он будет слишком нерешительно, а потому с самого начала обречён.

Так что идея цареубийства при всей своей привлекательности в более трезвые минуты признавалась декабристами бесплодной: сама по себе она лишь заменяла бы одного самодержца другим. Царские чиновники, ведшие следствие, ухватились за предполагаемые планы убийства Александра I как за наиболее тяжкое из преступлений декабристов. Но в более

⁴ Пушкин, Сочинения, IV (1934), с. 803.

широкой перспективе видно, что всё это гораздо больше оставалось на уровне разговоров, чем действительно продуманного террористического замысла.

Если бы декабристы были настроены серьёзно, у них были бы бесчисленные случаи ударить по монарху. По крайней мере некоторые из них вращались в самых высших кругах, встречали Александра при дворе, на манёврах, в салонах. Большинству этих мятежников не доставало ни холодного цинизма придворных, совершавших прежние дворцовые перевороты, ни идеологического жара позднейших революционеров, убеждавшего их, что цель оправдывает любые средства, включая террор.

Когда Александр I вступил на престол, его окружала атмосфера огромных ожиданий. Молодой император, которому было двадцать три года, считался другом реформ и человеком, намеренным взяться за главные язвы русского общества. Действительно, первые годы его правления принесли отмену наиболее варварских форм телесных наказаний, попытки облегчить положение крепостных и серьёзную реорганизацию разросшейся и малоэффективной административной машины.

Многие надеялись, что это лишь преддверие более крупного шага — введения национального представительства по проекту способнейшего из министров, Михаила Сперанского, и последующей отмены крепостного права. Но в 1812 году Александр внезапно отправил Сперанского в отставку. После великой эпопеи национального сопротивления и победы над Наполеоном политика императора всё более принимала реакционный характер.

Во внешней политике он стал покровителем Священного союза — своеобразного профсоюза европейских абсолютных монархов, призванного сохранять легитимность, то есть их власть, и подавлять всякое народное посягательство на статус-кво. Во внутренних делах главным советником Александра после 1815 года стал Алексей Аракчеев — узкий, жестокий реакционер.

Система образования, которую император прежде расширял, учреждая новые университеты и школы, теперь была поставлена под жёсткий идейный надзор, направленный на искоренение прогрессивных идей и отголосков Французской революции. Для режима высшее образование стало — и останется на весь век — главным потенциальным источником подрывных идей и потому предметом постоянного подозрения. Впрочем, общественное образование ещё было столь ничтожным по размаху, что и в хорошем, и в плохом смысле мало влияло на жизнь страны. На школы государство тратило примерно пятую часть того, что уходило на содержание императорской семьи и двора. Вряд ли более двух или трёх процентов населения России Александра I можно было назвать грамотными.

Поворот императора к консерватизму сопровождался его всё большей религиозной озабоченностью. Его всегда привлекали мистические течения — от сектантских учений, осуждённых православной церковью, до протестантского пиетизма. Александр знал о заговоре против Павла I и санкционировал его; вполне вероятно, что со временем мысль о собственной, хотя бы косвенной, ответственности за смерть отца всё сильнее тяготила его.

Эта вина, а также другие личные и семейные горести, возможно, усилили склонность царя к духовным размышлениям и сделали его добычей обскурантов и мнимых святых, тогда как реальное управление внутренней политикой оказалось в руках реакционных бюрократов.

Но не одно религиозное смирение и не только личные переживания мешали Александру идти путём реформ. Его либеральные представления, усвоенные в юности из философии Просвещения, сталкивались с его глубоко самодержавной натурой. Герцен метко назовёт его впоследствии «венценосным Гамлетом».

Главная дилемма императора была той же, что и у многих русских правителей вплоть до настоящего времени: желая даровать стране свободные учреждения, они в какой-то момент отступали перед огромностью и кажущейся невозможностью задачи. Этот момент наступал обычно тогда, когда речь заходила об ослаблении или ограничении самодержавной власти. Само отсутствие свободных учреждений в России означало, что всякая серьёзная попытка освободить общество должна была быть прыжком в неизвестность, итогом которого мог стать не порядок конституционного правления, а анархия, взрыв накопившихся народных обид и стремлений, способный разрушить не только самодержавие, но и единство и величие русского государства.

Колебания Александра проистекали из того же источника, что и сомнения его заговорщиков-противников: и те и другие боялись нанести решающий удар по существующему порядку, потому что в действительности не представляли себе, как Россией можно управлять иначе. Самодержавие хорошо послужило русскому государству: под его эгидой империя выросла в мировую державу и распространилась на одну шестую часть суши. Среди её государей были и идиоты, и выдающиеся государственные деятели, и тираны, и гуманные реформаторы. Но при любом из них процесс расширения и завоеваний почти не прерывался. Самодержавие было ключом к национальному величию России и в то же время, в условиях нового времени, главным источником угнетения, отсталости и бедности её народа.

Как бы резко декабристы ни разделяли пушкинский приговор Александру — «властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда»⁵ — они не могли не учитывать того, что для подавляющего большинства их соотечественников Россия была немыслима без самодержавного царя, а само понятие конституционализма — непостижимо. Сколь бы ни фантазировали они о цареубийстве и даже об истреблении всей царской семьи, они так и не смогли вполне отказаться от надежды, что император вернётся к реформаторскому пылу ранних лет и совершит то, чего они сами до конца не понимали как совершить: даст народу свободу.

Искренне или нет, Александр продолжал поощрять подобные надежды. В речи при открытии польского сейма 15 марта 1818 года он намекнул, что когда-нибудь может ввести

⁵ Пушкин, V, с. 209. Это было написано поэтом через несколько лет после смерти императора и отчасти отражало его личную обиду. В 1820 году Александр выслал его из столицы за несколько политически неосторожных стихотворений, широко ходивших по петербургским салонам.

представительные учреждения и в своих русских владениях⁶. Парадоксальный комплекс надежды и отчаяния у прогрессивных русских относительно государя хорошо виден и у Пушкина. В 1819 году он написал стихотворение против крепостничества, завершающееся строками о том, увидит ли он народ, освобождённый от гнёта, и крепостное право, поражённое рукой государя⁷. Александр, которому эти стихи были показаны, велел передать поэту свою благодарность за благородные чувства. Это, однако, не спасло Пушкина от ссылки несколько месяцев спустя за другие, менее лояльные стихи.

Сложность задачи преобразования России усугублялась ещё и тем, что находились люди, ясно видевшие зло самодержавия и крепостного права, но всё же считавшие оба института не только необходимыми потому, что страна ещё не готова к их уничтожению, но и соответствующими русскому национальному характеру.

Такие люди, как знаменитый историк Николай Карамзин, не были простыми реакционерами. Они соглашались, что конституционные системы могут хорошо действовать на Западе, но не в России. В своём историко-политическом сочинении, написанном в 1818 году и предназначенном лично императору, Карамзин критиковал реформаторские наклонности Александра и предостерегал его от всякого посягательства на принцип самодержавия. Если бы монарх пошёл на это, писал он, всякий патриот имел бы право сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти: иного не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить его»⁸.

Точно так же Карамзин считал опасным вмешиваться и в крепостное право. Освобождённые крестьяне, полагал он, предадутся пьянству и преступности⁹. При существующем порядке помещики, благодаря своей власти над крестьянами, помогают государству поддерживать мир и порядок. Одному государству не справиться с неизбежными беспорядками, которые последуют за освобождением. «Первая обязанность государя, — писал он, — блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая.»¹⁰.

Неизвестно, читал ли Александр когда-либо эту «Записку». Несомненно, в ней содержалось многое, что должно было быть для него крайне болезненно: например, весьма недвусмысленные упоминания о тирании и убийстве его отца, о распутной жизни бабки императора, Екатерины Великой, и тому подобное. Поэтому книга не могла быть

⁶ Николай К. Шильдер, Император Александр I (Санкт-Петербург, 1905), с. 344. Его речь по этому случаю была и расплывчатой, и не могла не задеть русское национальное самолюбие. Уровень образования, существовавший в Польше, позволял ему, говорил император, даровать ей конституцию. Хотя он уже давно имел в виду подобное благодеяние и «для других владений, вверенных его управлению Провидением», они пока ещё не были к нему вполне готовы.

⁷ Пушкин, Стихотворения, 1814–1825, I (Москва, 1934), с. 284.

⁸ А. Карамзин, Записка о древней и новой России, изд. Richard Pipes (Кембридж, Массачусетс, 1959), с. 43.

⁹ Карамзин, с. 73. Писатель не принимал во внимание того факта, что их нынешнее положение не уберегало их ни от того, ни от другого.

¹⁰ Карамзин, с. 74.

опубликована без купюр вплоть до времени после революции 1905 года. Русскому историку никогда не было легко писать правдиво о недавнем прошлом своей страны; в советский же период это стало бы еще труднее, даже если общее направление его труда было бы вполне прорежимным. Защищая самодержавие, Карамзин в то же время беспощадно отзывался почти обо всех прежних правителях России, и в его осуждении дворцовых переворотов заключалась невольная ирония. «Если некоторые вельможи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов, или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии, и должно скоро обратиться в безначалие, которое ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан, а тиран казнит только некоторых.»¹¹ Странная апология самодержавия, так близко подходящая к его обвинению. Но, быть может, это не так уж отличается от тех официальных восхвалений советской системы, в которых утверждалось, что лишь коммунизм смог преодолеть зло сталинского «культа личности».

За исключением горстки людей, о существовании этой «Записки» ничего не знали до 1836 года. Однако высказанные в ней идеи хорошо выражали то, во что твердо верил тогдашний русский консерватор и чего опасался его либеральный оппонент, хотя по большей части и не решался в этом признаться: история России и ее действительное состояние не давали больших надежд на свободу. Союз спасения был создан в порыве юношеского воодушевления. К 1818 году его участники стали немного старше и значительно мудрее. Они осознали всю огромную сложность задачи, которую поставили перед собой двумя годами ранее, и теперь стремились найти для своего дела более прочное основание.

В ходе совещаний членов общества в Москве в начале 1818 года было решено распустить старое тайное общество и сжечь его бумаги. Взамен декабристы создали новую организацию — Союз благоденствия. Преемственность между двумя союзами была весьма значительной: двадцать два из двадцати девяти учредителей нового общества состояли и в прежнем. Но Союз благоденствия должен был отказаться от явно заговорщического и политического характера своего предшественника. Были устранены квазимасонский язык и ритуалы. Вместо прежней клятвы с ее зловеще звучащими карами новый член должен был теперь лишь дать слово чести, что не выдаст тайн общества и не станет действовать против его интересов. В уставе Союза благоденствия, как утверждала формула, ничто не могло быть истолковано как неуважение к вере, патриотическим чувствам или общественным обязанностям русского человека.¹²

Устав союза был составлен комиссией из трех человек, одним из которых был Михаил Муравьев (будущий «Вешатель»), и смоделирован по образцу конституции «Тугендбунда» (Союза добродетели), организованного в Пруссии в 1808 году. «Тугендбунд», безусловно монархический по своим настроениям, стремился реформировать и модернизировать прусское общество с конечной целью сделать Германию способной сбросить французское владычество.

¹¹ Карамзин, с. 40.

¹² М. В. Нечкина, Движение декабристов, I (Москва, 1955), с. 204.

Следовательно, что касается декларации принципов, Союз благоденствия мог ссылаться на вполне почтенный и отнюдь не подрывной образец.

Но декабристы не отказались от своих революционных мечтаний ради того, чтобы сосредоточиться на просветительской и филантропической деятельности, как могло бы показаться при поверхностном чтении устава. Предлагаемая структура Союза благоденствия предусматривала внутреннюю группу, состоящую из его первоначальных учредителей, которая под названием Коренного союза должна была руководить делами всего тайного общества. Каждый член этого внутреннего круга должен был организовать местную ячейку численностью не менее десяти, но не более двадцати человек. Лишь после того как общая численность Союза благоденствия значительно возросла бы, члены, не принадлежавшие к числу основателей, могли бы быть избраны в Коренный союз и тем самым полностью посвящены в политику и планы организации. Затем Коренный союз декабристов выделил шестерых своих членов в качестве исполнительного органа, именуемого Коренным советом. Весь Союз благоденствия предполагалось строить по иерархическому и элитарному принципу, в виде пирамидальной структуры. Эта схема напоминает народнические заговорщические организации 1860-х и 1870-х годов и довольно близка к подпольным марксистским ячейкам в России до 1917 года. Очевидно, учредители намеревались, чтобы только ядро союза, то есть они сами, было посвящено в конечные политические цели тайного общества; новые члены должны были приобретать это знание лишь после периода идейной обработки. Таким образом, по крайней мере временно, существовал заговор внутри заговора: более широкая организация служила прикрытием для группы ветеранов старого Союза спасения, которые по-прежнему были полны решимости добиться коренных перемен в политическом и общественном строе России.

Учредители полагали, что те сотни и даже тысячи возможных сторонников, которые поначалу могли бы поколебаться, успокоятся, увидев неполитический и гуманитарный характер официальной программы союза. Поскольку дело происходило в России, правительство не могло и не захотело бы санкционировать публичную организацию такого масштаба; император ревниво оберегал не только свои прерогативы, но и притязание быть единственным благодетелем своего народа. Но если бы режим, как это было вполне вероятно, узнал о существовании Союза благоденствия, он не мог бы не одобрить его цели и усилия — хотя бы в частном порядке. Эти усилия должны были сосредоточиться в четырех главных областях.

Одной из них была филантропия. Люди, работавшие в этой сфере, должны были поддерживать, а также вступать в уже существующие организации, предназначенные для облегчения бедности, заботы о больных, улучшения участи заключенных и тому подобного. Особое внимание следовало уделять защите крестьян от алчных помещиков и вообще облегчению положения крепостных.

Члены союза, назначенные работать в сфере народного просвещения, должны были стремиться направлять и контролировать деятельность учебных заведений. Многие из ведущих декабристов воспитывались иностранными наставниками или учились за границей. И все же они твердо верили в национальную направленность образования. Молодежь

следовало прежде всего знакомить со своей собственной страной, учить гордиться национальным наследием и избегать подражания иностранным обычаям. Сфера народного просвещения включала и то, что сегодня мы назвали бы пропагандой и идеологическим воздействием. Союз благоденствия предполагал поддерживать журналы, газеты и книги, продвигающие его цели. Он намеревался навязывать обществу в целом свои нравственные и художественные стандарты. Литературу и искусство, как он полагал, следовало судить не столько по эстетическим критериям, сколько по степени, в какой они внушают общественно полезные идеи и патриотические чувства. «Сила и прелесть поэзии» должны состоять главным образом «в живости стиля и благопристойности языка и прежде всего в ее недвусмысленном утверждении высоких и самоотверженных начал». Или: «Недостойно поэзии брать предметом или изображать чувства, которые не укрепляют, а ослабляют стремление к нравственному добру».¹³

По иронии судьбы, эти предписания противников режима довольно близко подходили, даже по языку своему, к обоснованию, которым пользовался сам имперский режим, надзирающий за словесностью и художественной деятельностью. При всех прогрессивных и либеральных намерениях, стоявших за предлагаемыми ими нормами для искусства, моральная и патриотическая взыскательность декабристов заключала в себе нечто большее, чем просто намек на ту интеллектуальную нетерпимость, которая будет тяготеть над будущими поколениями русских революционеров и найдет свое наиболее полное выражение в коммунистической системе контроля над мыслью.

Третьей широкой целью предполагаемой деятельности были закон и порядок. Тем, кто был назначен работать в этой области, предписывалось следить за злоупотреблениями властей, разоблачать их и бороться с ними. Если они сами служили судьями (в России того времени не было ни профессиональных адвокатов, ни четкого разграничения между исполнительной и судебной ветвями власти), то должны были придерживаться самых строгих норм честности и добросовестности. Следовало вести энергичную пропаганду против чиновников, которые брали взятки, пренебрегали своими обязанностями, угнетали подчиненных и иным образом злоупотребляли властью. Короче говоря, эта часть Союза благоденствия ставила целью привить администрации суда и гражданского управления действенность и человечность, а также вселить страх Божий в коррумпированного и ленивого русского бюрократа. Тем самым союз брал на себя и задачу воспитывать общество в убеждении, что можно и должно добиваться от чиновников — от самых низших до самых высших — исполнения их обязанностей.

Четвертым крупным разделом деятельности союза было народное хозяйство. Для работы в этой области декабристы надеялись привлечь не только людей из соответствующих ведомств и помещиков, обладавших специальными познаниями в агрономии, но и представителей низших сословий — торговцев и ремесленников. Однако эта попытка расширить социальную базу тайного общества окончилась явной неудачей. Экономическая часть программы Союза благоденствия так и осталась в значительной мере в области добрых намерений. До

¹³ Цит. по: М. В. Довнар-Запольский, Тайное общество декабристов (Москва, 1906), с. 44.

промышленной революции России оставались еще десятилетия, а средний класс в западном смысле слова существовал лишь в зачатке. Но широту взглядов авторов программы подтверждает уже то, что в ней подчеркивалась необходимость содействовать развитию промышленности и торговли, улучшать пути сообщения и учреждать страховые компании. Бросается в глаза отсутствие какого-либо прямого упоминания об отмене крепостного права. Это соответствовало нарочитой умеренности публичной части программы Союза благоденствия.

И все же программа, известная как «Зеленая книга» по цвету обложки подлинного экземпляра, была нереалистична. Даже если численность Союза благоденствия исчислялась бы сотнями, он все равно оказался бы совершенно несоразмерен задачам, указанным в программе. Для достижения цели «Зеленой книги» — превращения декабристов в силу в русском обществе, соперничающую с самим правительством, — потребовались бы все ресурсы современной, хорошо организованной и дисциплинированной партии. Несмотря на все предусмотренные меры централизованного руководства Союзом благоденствия и его преемниками, их деятельность так и не была успешно скоординирована; до самого конца декабристы оставались скорее слабо связанной сетью отдельных ячеек, чем единой дисциплинированной организацией. Современная политическая партия, помимо прочего, есть продукт современной техники, и огромные расстояния России до телеграфа и железных дорог делали честолюбивые замыслы «Зеленой книги» совершенно непрактичными.

Но умеренная и внешне неброская программа Союза благоденствия не выражала всей полноты его целей. Существовала и другая, более тайная часть «Зеленой книги», известная лишь внутреннему ядру членов союза; в ней излагались политические задачи организации, подтверждавшие решимость тайного общества ввести представительные учреждения и уничтожить крепостное право.¹⁴ Общество также не было полностью привержено исключительно мирным средствам: оно не исключало возможности, что режим придется свергнуть силой.

По состоянию на 1818 год декабристы еще не решили, каким путем идти — путем революции или мирной реформы, заговора против правительства или сотрудничества с ним. Подобно тому как в их императоре было нечто гамлетовское, нечто гамлетовское было и в этом первом поколении русских революционеров. У первого либеральные убеждения сдерживались авторитарным темпераментом; у декабристов же революционная нетерпеливость уступала страху, что, ударив по ненавистной политической системе и ее воплощению — императору, — они могут повредить самой России. В конце концов, как провозглашал устав, конечная цель Союза благоденствия состояла в том, чтобы привести страну «к той степени величия и благоденствия, для коей она предназначена Создателем». Но вопрос заключался в том, может ли этому послужить междоусобная борьба, убийства и, быть может, гражданская война. Декабристы так и не смогли решиться нанести удар по Александру; а он сам, несмотря на частые донесения о деятельности тайных обществ, до самых последних дней своей жизни не помышлял о мерах против них. В 1821 году граф Илларион Васильчиков, тогда командир

¹⁴ Нечкина, I, с. 207–213.

Императорской гвардии, подробно донес императору о тайных обществах среди офицеров. «Дорогой Васильчиков, — ответил царь, — вы давно мне служите. Вам должно быть известно, что и я сам некогда разделял и поощрял подобные заблуждения и иллюзии. Не мне их наказывать».¹⁵ Такое отношение императора объяснялось не одним только фатализмом или чувством личной вины. Александр умел быстро предупреждать то, что считал реальной угрозой своей персоне или власти, и был весьма жесток к тем, кто ему противился. Но он знал декабристов и чувствовал, что они едва ли когда-нибудь сумеют перейти ту грань, которая отделяет подрывные разговоры от революционного действия. Непосредственной опасности не существовало, и со временем молодые ревнители поймут, как понял он сам, что Россию невозможно сдвинуть с места и изменить ее вековые устои.

И действительно, за три года своего существования Союз благоденствия не приблизился даже к достижению тех целей, которые сам себе поставил. Он рос численно, однако часть старших членов отошла — либо по причине перемены убеждений, как Александр Муравьев, все более погружавшийся в религию, либо из осторожности: было ясно, что правительство осведомлено об их деятельности. Возникли новые отделения в Петербурге, Москве и в нескольких гарнизонных городах, особенно в Тульчине, где Павел Пестель, все более признаваемый главным умом общества, служил при штабе Второй армии. Но совокупный итог деятельности общества был довольно скромным. Коренной союз, как и отдельные отделения, собирались на заседания, обсуждали плачевное состояние страны, спорили и ссорились о том, каким должен быть политический строй России после крушения самодержавия, а затем неизменно поднимали и оставляли без ответа роковой и пока неразрешимый вопрос: когда и как?

Почти никакого продвижения не было достигнуто и в осуществлении честолюбивого плана «Зеленой книги» — сделать тайное общество влиятельной силой в важнейших сферах национальной жизни. Декабристы поддерживали некоторые литературные и экономические общества и кружки для дискуссий; они обличали и сочиняли злобные стихи против главных столпов официальной реакции, прежде всего против Аракчеева; подвергали критике такие исторические и литературные оправдания самодержавия, как знаменитая «История государства Российского» Карамзина. Но все это далеко не дотягивало до первоначальной цели: создания и направления общественного мнения в подлинном смысле слова. Либерализм, который пропагандировал Союз благоденствия, мог приобрести лишь статус одной из нескольких модных идей среди высших сословий. Но он не стал мощной силой, способной навязывать правительству политику или своими собственными усилиями продвигать желательные реформы и установки.

Некоторые результаты, поистине микроскопические в сравнении с масштабом задачи, появились в области просветительской деятельности Союза благоденствия. Должны были пройти еще десятилетия, прежде чем прогрессивные помещики начали бы организовывать и содержать на собственные средства школы для своих крестьян и прежде чем возник бы быстрый рост воскресных школ для городских низов. Пока сохранялось крепостное право, распространение грамотности в массовом порядке было бы непрактичным, а возможно, и

¹⁵ Шильдер, с. 430.

жестоким делом; кроме того, по меньшей мере сомнительно, чтобы правительство санкционировало подобный замысел.

То немногое, что можно было сделать в этом направлении, приняло форму так называемых ланкастерских школ — идеи, заимствованной из Британии. В этих школах более подготовленные ученики обучали начинающих. Декабристы помогли организовать и вести Вольное общество учреждения училищ по методу взаимного обучения, разрешенное правительством в 1819 году и открывшее ланкастерские школы для детей бедняков. Разумеется, этот метод можно было применять и в обучении взрослых, особенно для уменьшения ужасающей неграмотности среди солдат. И неудивительно, что по крайней мере один из декабристов очень скоро понял, какой пропагандистский потенциал заключен в этой системе обучения.

Из-за событий его дальнейшей жизни граф Михаил Орлов обычно не числится среди вождей декабристов, но он, несомненно, был одной из наиболее выдающихся фигур среди них. Состояние его семьи было создано дядей — одним из прежних официальных фаворитов Екатерины Великой, — который вместе со своими братьями помог ей захватить престол. Орлов снискал большое отличие в войнах с Наполеоном — и на поле боя, и как искусный дипломат и переговорщик. Именно он сыграл важную роль в заключении капитуляции Парижа в 1814 году. Генерал-майор в двадцать шесть лет, любимец императора, он, казалось, был предназначен для блестящей карьеры. Но Орлов не был создан для роли придворного, и сама его близость к Александру оказалась роковой для его дальнейшего возвышения. Он открыто высказал императору свое несогласие с дарованием конституции Польше, считая эту меру оскорбительной для русского национального достоинства и интересов. Затем независимый офицер стал продвигать петицию ряда помещиков с просьбой к царю отменить или хотя бы реформировать крепостное право. Александр холодно ответил представителю просителей, что забота о благе его подданных — его дело, а не их. Орлов, впав в немилость, был удален от центра и получил последовательно ряд провинциальных назначений: сперва в Киев, а затем еще дальше от столицы — в бессарабскую глушь, в Кишинев.

Потерпев неудачу в попытках влиять на императора, молодой аристократ стал одним из основателей Союза благоденствия и одним из наиболее деятельных распространителей его идей. И в Киеве, и в Кишиневе он организовывал ланкастерские школы для солдат, число учеников в которых исчислялось сотнями. Приняв командование пехотной дивизией, Орлов объявил, что не потерпит несправедливого обращения с солдатами, и сдержал свое слово. Офицеры, обвиненные в злоупотреблении властью или чрезмерной суровости к подчиненным, по его приказу привлекались к военному суду. Еще более необычным для русской армии того времени было то, что Орлов поощрял солдат доносить о проступках начальства.

Человеком, которому он поручил надзор за просветительной деятельностью в дивизии, был другой член Союза благоденствия — Владимир Раевский. Именно ему принадлежит право называться «первым декабристом», то есть первым из членов тайного общества, кто был привлечен к ответственности и осужден за подрывную деятельность задолго до самого восстания. Раевский был арестован в феврале 1822 года, и следствие установило, что он

использовал свое положение для распространения среди солдат-учеников конституционных и уравнилельных идей. Нет никакого сомнения, что делал он это с ведома и поощрения Орлова, однако придворные связи последнего уберегли молодого генерала от участи, постигшей Раевского. (Раевского держали в тюрьме, а затем сослали в Сибирь.) Но в 1823 году дивизию у Орлова отобрали, и хотя его формально оставили в армии, нового командования ему уже не дали.

Дело Орлова — Раевского осталось единственным случаем вплоть до рокового дня 14 декабря 1825 года, когда декабристы прибегли к сколько-нибудь масштабной агитации среди нижних чинов армии. И сама исключительность этой попытки лишь подтверждает правоту пушкинской мысли о том, что декабристам недоставало решимости настоящего революционера — той уверенности в себе и той страсти, которые убеждают заговорщика: цель должна оправдывать любые средства.

Итак, схема, выдвинутая Союзом благоденствия, его намерение добиться революционных перемен посредством постепенной тактики, не могла сработать в условиях авторитарного общества. Само чувство, их патриотизм, превративший их в заговорщиков, сдерживало декабристов как революционеров. Они не могли, преследуя свои цели, искать власть, разжигая солдатские и крестьянские восстания и ввергая любимую страну в гражданскую войну и анархию.

Будь они настроены иначе, возможностей воспользоваться нарастающим социальным напряжением было бы у заговорщиков бесчисленное множество. Одной из самых болезненных язв русской жизни были так называемые военные поселения — затея, принадлежавшая Александру I, хотя ее и связывали, несколько несправедливо, с Аракчеевым, которому император поручил ведать ими. В теории этот план казался и гуманным, и разумным. Военные поселения представляли собой сельские общины, где взрослые мужчины совмещали земледельческий труд с военной службой. Предполагалось, что сами солдаты-крестьяне оценят очевидные преимущества системы: оставаясь в мундире, они, за исключением военного времени, не отрывались от семей и деревень. Строгий надзор и дисциплина должны были обеспечить большую производительность труда и более здоровый и упорядоченный быт, чем в обычной деревне. Короче говоря, поселения должны были послужить примером для всей остальной сельской России, а солдаты-земледельцы — содержать себя сами, тем самым уменьшая громадные расходы на армию.

Но, как и многие замыслы социальной инженерии, этот, будучи соблазнительным в теории, на практике оказался губительным. Если не считать владений самых жестоких помещиков, крестьяне, даже будучи несвободными, все же сохраняли некоторую долю частной жизни, совершенно исчезавшую при режиме военных поселений, где даже семейные отношения подчинялись инструкциям и правилам. Поэтому, несмотря на все предполагаемые преимущества, обитатели поселений скоро почувствовали, что живут при особенно отвратительной форме рабства, сочетавшей худшие черты и крепостничества, и солдатчины. Многие деревни подавали прошения о возвращении к нормальной крестьянской жизни, но их мольбы оставались тщетными. Доведенные до отчаяния солдаты-крестьяне подняли ряд

бунтов и мятежей, которые пришлось подавлять регулярной армии. Упрямство Александра только обострилось: он будет проводить свою идею и добьется повиновения, даже если для этого понадобится массовая резня поселенцев. Такова была реакция императора на одно из подобных выступлений. Один из декабристов позднее писал об этом злосчастном опыте: «Насильственное введение так называемых военных поселений было встречено изумлением и враждой... знает ли история что-либо подобное этому внезапному захвату целых деревень... этому занятию домов мирных земледельцев, отнятию всего, что они и их предки нажили трудом, и их насильственному превращению в солдат?»¹⁶ Но, как бы ни сочувствовали декабристы страданиям несчастных поселенцев, они как группа остались и не желающими, и не способными ни помочь их делу, ни использовать положение в своих целях.

Еще более характерным свидетельством неспособности декабристов перейти от революционных разговоров и планов к революционным действиям было их полное бездействие во время волнений в Семеновском гвардейском полку. Этот инцидент, произошедший осенью 1820 года, обычно описывают как мятеж, но поскольку он не сопровождался насилием, протест нижних чинов полка по существу носил скорее характер стачки.

Современному читателю трудно понять, почему бунты не были частым явлением в русской армии того времени. Солдата брали в рекруты на двадцать пять лет; малейшее нарушение дисциплины, ошибка в строю или осанке, неверное движение во время бесконечных парадов и учений могло закончиться поркой. Обычным делом было, что офицеры дополняли свое скудное жалованье, присваивая часть средств, отпускавшихся на содержание солдат. И все же в огромном большинстве случаев русский солдат переносил тяготы и унижения повседневного существования с той покорностью и смирением, которые унаследовал от поколений своих крестьянских предков.

В элитном корпусе Семеновского гвардейского полка условия были несколько лучше. Здесь офицеры обычно стояли гораздо выше — и нравственно, и умственно, — чем в линейной армии, о чем свидетельствует уже число декабристов в их среде. Нижние чины ожидали, что с ними будут обращаться человечнее, и в целом так и было. Срок службы у них был немного меньше — всего двадцать три года; отличившихся ветеранов, как предполагалось, не подвергали телесным наказаниям; довольно многие из солдат умели читать и писать. Насколько вообще это было возможно в сословном обществе и армии, между нижними чинами и их начальством существовало известное чувство полкового товарищества и солидарности.

Именно поэтому в Семеновском полку с негодованием встретили назначение командиром постороннего человека — полковника Шварца. Он был ставленником всемогущего Аракчеева, давно полагавшего, что полку нужна твердая рука ввиду слишком мягкого обращения офицеров с солдатами и некоторых досадных промахов на плацу. [И Александр, и оба его брата — будущий император Николай I и великий князь Михаил — питали чрезмерную

¹⁶ Барон Владимир Штейнгель, цит. по: А. Бороздин, Письма и показания декабристов (Санкт-Петербург, 1906), с. 62.

страсть к военным смотрам и строевым учениям. Поэтому физическая годность солдата и его боевой дух считались делом второстепенным по сравнению с его слепым повиновением, умением содержать мундир и снаряжение в безупречной чистоте и стройно сливаться со своим подразделением во время сложных манёвров на плацу.] Потомок немцев, Шварц говорил по-русски с ошибками, что в сочетании с чудовищными манерами возмущало офицерское собрание. К тому же новый командир, подобно своему покровителю Аракчееву, был садистом, беспрестанно выдумывавшим для солдат новые придирки и наказания. Вскоре несколько офицеров подали прошения об отставке или переводе, а среди нижних чинов начались случаи дезертирства — явление, прежде неслыханное в этом гордом полку. Непосредственным поводом к кризису стало особенно жестокое действие Шварца. Гвардейский мундир шился с расчетом скорее на внешний эффект, чем на удобство или боевые условия: китель стягивал туловище словно тисками, а брюки были столь узки, что напоминали балетное трико. Поэтому одевание превращалось в мучительную и долгую процедуру. Заметив одного рядового с несколькими расстегнутыми пуговицами, разгневанный полковник ударил его, а затем, вытащив виновного перед строем, приказал каждому солдату плюнуть ему в лицо. На следующий день солдаты роты отказались выйти на полевые занятия, и вскоре их примеру последовали другие подразделения. На несанкционированных сходках увещевания офицеров вернуться к службе встречались криками, что лучше умереть, чем служить под началом Шварца. В конце концов весь батальон, где произошло выступление, заключили в крепость, а остальной полк вывели из столицы. Началось брожение и в других гвардейских полках, и гарнизон Петербурга был приведен в боевую готовность.

Известие о волнениях застало императора на Западе, где он участвовал в дипломатической конференции. Он был одновременно возмущен и испуган. Семеновский полк, почетным шефом которого был он сам, был его любимым полком. Должно быть, он вспомнил, какую роль играла гвардия в прежних дворцовых переворотах, включая тот, что привел к власти его самого. Ему, вероятно, виделись зловещие параллели с тогдашними революционными движениями в Италии и Испании, где произошел военный переворот. Меттерниху, находившемуся рядом, Александр признался в уверенности, что за всеми этими беспорядками должна стоять некая международная революционная организация. Три тысячи русских солдат, с детства приученных к повиновению, не могли взбунтоваться без внешнего тлетворного влияния и подстрекательства.

По нынешним меркам все происшествие было довольно скромным: ни физического насилия, ни настоящего сопротивления; после шумных протестов виновные покорно позволили отвести себя в тюрьму. Но император потребовал и добился суровых наказаний. Весь состав опозоренного полка был рассеян по частям регулярной армии; офицеров и солдат, подавляющее большинство которых не участвовало в протесте, перевели в другие места службы и, сверх того, лишили права на отпуска. Лиц, объявленных зачинщиками беспорядков, ожидали драконовские кары: девять солдат получили по шесть тысяч ударов кнутом, сотни других были отправлены на опасную службу в Сибирь и на Кавказский фронт. Трое офицеров, признанных виновными в сочувствии протестующим, были разжалованы и заключены в тюрьму. Шварц — истинный виновник случившегося — хотя и был приговорен к смерти за

трусость (во время волнений он прятался), по ходатайству Аракчеева не только был помилован, но и получил командование другим полком.

Пассивность Союза благоденствия в деле Семеновского полка была тем более поразительна, что в ту пору в полку служили несколько его членов, в том числе и будущий руководитель южного восстания Сергей Муравьев. И все же ни один из них не оказался связан с этими волнениями, а Муравьев, напротив, сделал все возможное, чтобы убедить солдат своей роты не ввязываться в беспорядки.

Но с этого времени спокойствие Александра в отношении тайной деятельности среди офицерства сменилось настороженностью и тревогой. Он разрешил использовать в армии политических осведомителей и распорядился установить особое наблюдение за солдатами, обучавшимися в школах ланкастерского типа. В мае 1821 года весь гвардейский корпус был выведен из Петербурга на маневры в Белоруссию и вернулся в столицу лишь следующим летом. К тому времени революционные движения в Испании и Италии были уже подавлены. В 1822 году последовал императорский рескрипт о роспуске масонских лож и о повторном подтверждении запрета на все тайные общества. К тому времени и Союз благоденствия уже перестал существовать.

Её распад был вызван не только осознанием того, что правительство посвящено в её деятельность, но и признанием того факта, что сама концепция союза была нереалистичной.

Союз пытался одновременно следовать двум параллельным, но не обязательно совместимым программам. Он надеялся, что, хотя его программа реформ и была незаконной с точки зрения закона, правительство будет её терпеть, если не содействовать ей. Тем не менее члены внутреннего ядра тайного общества не отказывались от революции на случай, если представится подходящий момент. Если бы правительство и далее терпимо относилось к деятельности союза, о которой оно неизбежно должно было и действительно узнало, то заветным и совершенно утопическим ожиданием его основателей было то, что через двадцать лет русское общество самой инерцией реформ избавится и от самодержавного строя, и от крепостничества. Но эта шизофреническая природа заговора — революционеры, замышляющие свержение самодержавия, или реформаторы, приходящие на помощь режиму, — очевидно, не могла существовать долго. Многие декабристы теряли терпение. В январе 1820 года высшее руководство движения, Основной совет союза вместе с несколькими другими членами, собралось в Петербурге; главным пунктом повестки было обсуждение сравнительных преимуществ монархической и республиканской форм правления. Пестель горячо выступил в пользу республиканской конституции, и его красноречие взяло верх. Все присутствовавшие проголосовали за республику. Лишь впоследствии некоторые из них, поразмыслив о последствиях такого шага — а это было недвусмысленным обязательством встать на путь революции, — порвали свои связи с тайным обществом. Хотя, быть может, это был ещё один замысел, рождённый «между кларетом и шампанским», принятое решение, доведённое до сведения всех членов, означало разрыв со всей постепеннической философией «Зелёной книги». А после Семёновской истории правительство уже не намеревалось и далее снисходительно относиться к не столь уж тайному обществу.

Таким образом, перед ведущими декабристами, когда они в начале 1821 года собрались в Москве, чтобы решить вопрос о дальнейшем ходе движения, стояли две альтернативы: революция или роспуск. Один из них, Иван Якушкин, впоследствии писал: «Союз благоденствия был, как нам казалось, в летаргии. По самому своему устройству он был слишком ограничен в своей деятельности».¹⁷

Доводы в пользу революции привёл Михаил Орлов. Он предложил, чтобы общество готовилось к осуществлению вооружённого государственного переворота. Первым шагом должно было стать развёртывание подпольной печати для выпуска революционных прокламаций и поддельных денег. Но для его товарищей по совещанию это было слишком радикально. Получив отпор, Орлов объявил, что покидает общество. Тогда конференция постановила распустить Союз благоденствия. Но это должно было стать лишь уловкой, предназначенной для того, чтобы обмануть правительство, которое, как присутствующие понимали, уже имело своих агентов внутри общества. Заговор должен был продолжаться под иным обличьем, и его цель отныне должна была быть ясно революционной: введение представительных учреждений силой.

Однако итоги этой московской конференции, в том виде, в каком их представляют советские историки на основании довольно скудных и нередко запутанных данных, несколько упрощены.¹⁸ Ошибка здесь в том, что этим итогам придаётся слишком отчётливый и чрезмерно окончательный характер, тогда как на деле это были довольно хаотичные и не вполне завершённые обсуждения. Советский историк склонен рассматривать декабристов сквозь призму истории Коммунистической партии. Но эти люди были неопытны и неискусны в революционном ремесле, представляя собой политически неоднородное собрание личностей, а не идеологически однородную партию. Поэтому, быть может, здесь уместнее говорить не об идеологиях и решениях, а о настроениях и побуждениях. Как впоследствии показал Пестель перед комиссией, расследовавшей восстание 14 декабря: «С самого начала тайного общества ни одно из его правил последовательно не соблюдалось в течение всей его деятельности... весьма часто то, что было решено в одно время, на другой же день снова ставилось под вопрос и обсуждалось... Всё зависело от обстоятельств».¹⁹

Формальный роспуск Союза благоденствия предназначался для того, чтобы ввести в заблуждение не только правительство и его агентов внутри тайного общества. Московские совещавшиеся считали желательным также избавить движение и от таких людей, как Пестель, которого подозревали в диктаторских амбициях и который к тому времени уже твёрдо стоял за республику, и от тех, кто был слишком консервативен и не желал прибегать к насильственным средствам для свержения самодержавного строя. Людей обеих этих категорий не следовало уведомлять о том, что заговор продолжает существовать. Но эта попытка чистки потерпела крушение с самого начала. Пестель, как и следовало ожидать, просто отказался подчиниться московскому решению и, вместо того чтобы прекратить

¹⁷ Записки, статьи, письма (Москва, 1951), с. 35.

¹⁸ Напр., Нечкина, I, с. 304–333.

¹⁹ Материалы, IV, с. 102.

деятельность, усилил свою заговорщическую активность. Силой своей личности он сумел увлечь за собой большинство декабристов на юге.

Так, умирая, Союз благоденствия породил не одно, а два новых тайных общества: Северное общество, сосредоточенное в Петербурге и первоначально возглавляемое Николаем Тургеневым, высокопоставленным чиновником Министерства финансов, который председательствовал на московской конференции, и капитаном Никитой Муравьевым; и Южное общество, в котором господствовал Пестель. Комедию с роспуском заговора пришлось прекратить, и обе ветви декабристов продолжали поддерживать между собой связи. В отличие от их общего предшественника, Союза благоденствия, оба тайных общества уже явно были посвящены свержению самодержавного строя, хотя и расходились во мнениях относительно того, что должно прийти ему на смену. Северяне стояли за конституционную монархию, Пестель же и его сторонники были твёрдыми поборниками республики.

Раз они теперь окончательно отказались от мечты изменить Россию мирным путём, то, казалось бы, обе декабристские группы логически должны были приступить к разработке конкретных планов революционного действия. Однако этого не произошло. Как и с самого начала движения, проблема захвата политической власти продолжала ставить декабристов в тупик. Первый шаг казался очевидным: нужно было захватить царя и заставить его согласиться на конституцию или же избавиться от него. Обсуждение среди декабристов того, как это сделать, носило трагикомический характер, свидетельствуя о том, что психологически они были неспособны совершить это деяние. Кто должен был схватить и сторожить Александра? Русский солдат мог при самом крайнем раздражении восстать против своего командира, но даже в Семёновской истории никто не поднял руки на ненавистного полковника. Можно ли было тогда представить себе, что какой-нибудь офицер-заговорщик сумеет убедить своих солдат схватить и физически удерживать «священную особу императора», как его именовали солдаты каждое воскресенье в литургии православной церкви? Часто выдвигались предложения похитить Александра во время одних из ежегодных полевых манёвров, на которых он присутствовал, но неизменно случалось нечто такое, что убеждало заговорщиков воздержаться и отложить действие до следующего года.

Неизбежно многие декабристы, особенно на юге, вновь обращались к более радикальному решению: убийству. Но убийство Александра не уничтожало автоматически монархию и не обеспечивало конституции. Некоторые северяне питали замыслы заменить его на троне его супругой, императрицей Елизаветой. Но было фантастично полагать, что эта мечтательная и болезненная немецкая принцесса, хотя уже давно отчуждённая от мужа, либо согласится, либо окажется способной последовать примеру Екатерины Великой.

В своих показаниях перед царскими следователями некоторые декабристы позднее сообщили, что Пестель рассматривал и ещё более радикальный способ решения проблемы: поголовное истребление императорской семьи. Он настаивал, что должны быть убиты не только Александр, но и все мыслимые наследники престола, включая женщин и детей. И несомненно, что со своей роковой манерой, призванной одновременно производить впечатление и держать товарищей в недоумении, Пестель временами давал им понять, что он собирается или уже

собрал команду убийц, каждый из которых готов отдать собственную жизнь ради того, чтобы убить одного из Романовых, причём число жертв должно было быть не меньше тринадцати. В собственном своём показании несчастный настаивал, что всё это было лишь разговором: «Я никогда к этому [массовому убийству] не был привержен. Всякий беспристрастный человек, хоть немного меня знающий, признает, что я не был бы способен на подобное дело. От слов до дела очень далеко».²⁰ Всё, что он имел в виду, — это то, что после переворота императорскую семью следовало отправить за границу. Братья императора были непопулярны в гвардии, следовательно, они не могли бы представлять опасности для республиканского режима. А ни одно иностранное правительство не осмелилось бы вмешаться для восстановления монархии в России: оно побоялось бы спровоцировать революции у себя дома.

Трудно решить, что в действительности было у Пестеля на уме, когда он разворачивал свои террористические замыслы. Как человек умный, он должен был понимать, что массовые убийства скомпрометируют всё революционное предприятие. Это был ещё не 1918 год, когда императорскую семью можно было уничтожить целиком, не вызвав особого волнения среди народа, ожесточённого четырьмя годами внешней и гражданской войны. В 1820-е годы это было бы невозможно. Перед глазами у декабристов, должно быть, стоял пример якобинцев, потерпевших поражение именно из-за отвращения, которое вызвал массовый террор Французской революции. Это была Россия, а не Франция. Но в Пестеле была и доктринёрская жилка, и нетрудно поверить, что, будь у него случай, он одобрил бы террористические средства.

Хотя их революционная решимость окрепла, декабристы в 1821–1825 годах продвинулись к своей цели весьма мало. В отличие от большинства тех, кому впоследствии удастся предпринять попытку освободить русский народ, они не мыслили революцию как непрерывный процесс. Всё должно было зависеть от одного-единственного события. И до наступления этого рокового дня тайное общество не должно было слишком бросаться в глаза. Отсюда — сдержанность заговорщиков в вопросе о пропаганде среди масс и их боязнь устраивать публичные демонстрации. Они сознательно отказывались от тех средств, посредством которых современное радикальное движение, с одной стороны, стремится подорвать самоуверенность и престиж режима, а с другой — сохранить собственный моральный дух и динамику. Были исключения, как в случае Раевского. Но там инициатива пропаганды среди солдат исходила от отдельного лица, а не от заговора в целом. И судьба Раевского неизбежно должна была отвалить от подобных попыток.

Не желая и/или не умея вести революционную агитацию среди масс, декабристы всё же много думали о том, каким образом можно достичь ума простого человека и подорвать его якобы слепое доверие к царю. Никита Муравьёв полагал, что сделать это следует, ударив по религиозным основаниям политического повиновения. Среди бумаг Муравьёва после его ареста был найден краткий катехизисоподобный документ: «Любопытный разговор». Это самый ранний пример того типа пропаганды, который впоследствии получит широкое распространение в руках следующего революционного поколения — народников. Здесь

²⁰ Материалы, IV, с. 159.

религиозные доводы и исторические примеры используются для обоснования дела свободы и против самодержавия:

«Бог даровал человеку свободу... Должны ли все люди быть свободны? Да, без сомнения. Все ли люди свободны? Нет, малая часть из них поработила остальных... [потому что] первые несправедливо возжелали властвовать, тогда как вторые низко смирились с утратой естественных человеческих прав, дарованных Самим Богом... Следует установить правила или законы, как это было встарь... [когда] не было самовластных государей... Монарх шаг за шагом узурпировал абсолютную власть, прибегая ко всевозможным обманам».

Документ подчёркивает, насколько уникальна и зловеща русская самодержавная система.

«Есть ли абсолютные владыки в других странах? Нет, везде самодержавие считается глупым и незаконным, везде существуют твёрдые правила или законы. Самодержавие не может терпеть постоянных законов. Оно питается беззаконием и постоянной [произвольной] переменой. [Хотя по отношению к старомодному самодержавию это суждение Муравьёва и не вполне справедливо, оно предвосхищает ту беспокойную, вечно движущуюся природу современного тоталитаризма.] Сегодня монарх пожелает одного, завтра — другого. Он мало печётся о нашем благе, отсюда и пословица: “Близ царя — близ смерти”».²¹

Старая Русь, утверждает документ, обладала представительными учреждениями. Её князья избирались свободно и подчинялись народным собраниям. Именно татарское иго вселило в народ рабскую покорность и заставило его забыть свои древние права.

Брошюра Муравьёва, по-видимому, была образцом той пропагандистской техники, которую декабристы рассчитывали использовать среди своих солдат после того, как революционный набат прозвучит. Подобный катехизис, составленный Сергеем Муравьёвым-Апостолом, был прочитан солдатам Черниговского полка после того, как тот поднялся на мятеж в январе 1826 года. На декабристов явно повлиял пример испанских партизан в их войне национального освобождения против Наполеона. С помощью католических священников они использовали сходный религиозный мотив, поднимая народ на борьбу с французами. Но одно дело — мобилизовать национальные и религиозные чувства против иностранного захватчика, и совсем другое — пытаться успешно использовать их, когда врагом является собственное правительство, а человек, против которого ты выступаешь, согласно учению твоей церкви, есть помазанник Божий.

Таким образом, распуск Союза благоденствия мало что сделал для того, чтобы придать новый импульс заговору. Но сами заговорщики чувствовали иначе. Теперь они окончательно приняли революционное решение. Они были заняты вербовкой новых членов и составлением законодательства для послереволюционной России.

В отличие от большинства революционеров, которые редко утруждают себя разработкой подробного чертежа своих утопий, декабристы вложили огромное количество времени и сил

²¹ Материалы, I, с. 32

в составление и обсуждение конституционных проектов. Отчасти это, несомненно, отражало сохранявшиеся у заговорщиков колебания и внутренние сомнения относительно того, следует ли и как именно приступить к самому перевороту. Но была и другая, более веская причина. Они были достаточно идеалистами — или мечтателями, — чтобы отвергнуть мысль о стремлении к власти ради самой власти. Им нужно было доказать самим себе и миру, что их цель — подлинно новый общественный и политический порядок, который обеспечит России свободу и величие. Пропитанные романтическим духом, мятежники были также детьми эпохи, верившей, что человек формируется своей средой, что тайна индивидуального и коллективного счастья заключена в мудрых и гуманных законах. Интеллектуалы среди декабристов глубоко впитали сочинения Монтескьё, Дестюта де Траси и Адама Смита и изучали английские законы и Конституцию Соединённых Штатов. Само слово «конституция» внушало многим мысль о некоем чудодейственном проекте, который сам по себе мог бы спасти Россию от обычных мук политического переворота и открыть эру свободы и процветания. То, что декабристы якобы уже владели этой магической формулой, было сильным козырем в пользу заговора. Вербуя новых членов для Южного общества, Бестужев-Рюмин постоянно и довольно бесцеремонно эксплуатировал конституционную тему. Он беззастенчиво уверял будущих неопитов, что ещё в 1816 году тайное общество сформулировало будущие основные законы, и этот проект будто бы тогда был показан и одобрен ведущими западными философами и законодателями:²² «Наша конституция навсегда обеспечит народу свободу и благоденствие».²³ Разумеется, такие доводы могли убеждать лишь очень молодых и наивных, и Бестужев, совершенно нехарактерно для декабристов, был весьма безответствен в своей пропагандистской деятельности. Но и самые трезвомыслящие и утончённые из заговорщиков полагали, что прежде чем разрушать старое, они должны ясно и окончательно изложить на бумаге проект нового.

«Опыт всех народов и всех времён доказал, что самодержавная власть имеет пагубные последствия как для правителей, так и для управляемых. Она противна учению нашей святой веры и предписаниям здравого смысла».²⁴ Так начиналась преамбула к проекту конституции Никиты Муравьёва. Первоначально составленная им в 1821 году, она впоследствии подвергалась нескольким изменениям, призванным учесть критику со стороны его товарищей-декабристов. Но в основе своей она осталась неизменной и выражала господствующую политическую ориентацию в среде членов Северного общества.

Всякая другая европейская страна, утверждает Муравьёв в своей преамбуле, уже достигла или находится на пути к достижению свободы под властью закона (значительное преувеличение, если говорить о Европе 1820-х годов). Русские, гордо заявляет он, более достойны конституционных свобод, чем какой бы то ни было другой народ. Но этот всплеск национальной гордости умеряется историческим реализмом, проявляющимся в его рассуждении о наиболее подходящей форме правления для России. Малое государство, пишет он, часто становится добычей агрессора. Большое же, напротив, склонно угнетать не только

²² Материалы, XIII (1975), с. 218.

²³ Цит. по: И. И. Горбачевский, Записки и письма (Москва, 1963), с. 23.

²⁴ Текст конституции в: Материалы, I (1923), с. 109–132.

своих малых соседей, но и собственный народ. «Обширные пространства и огромная постоянная армия сами по себе суть препятствия к свободе». Именно из-за своих огромных размеров, подразумевает Муравьёв, Россия стала одновременно и империалистической, и самодержавной. Но националист в нём не может принять логического вывода о том, что империя должна в таком случае извергнуть из себя свои завоевания и нерусские земли. Поэтому он выбирает федеративную систему как такую, которая примиряет «величие государства с гражданской свободой».

Наряду с федерализмом автор является горячим сторонником разделения властей. И в самом деле, документ несёт на себе сильный отпечаток Конституции Соединённых Штатов, особенно в том, что касается механики его федерального устройства. Хотя монархическая форма и сохраняется по имени, Россия Муравьёва была бы по существу увенчанной короной республикой. «Русский народ свободен и независим. Он не может быть принадлежностью какого-либо лица или семейства. Народ есть источник верховной власти. И ему одному принадлежит право постановлять основные законы». Император у Муравьёва, хотя и наследственный и наделённый огромным доходом, по объёму своих полномочий моделируется по образцу президента Соединённых Штатов. Он — главнокомандующий, но не может объявлять войну или заключать мир без согласия законодательной власти. Он ведёт внешние дела, но договоры должны утверждаться Верховной думой, соответствующей американскому сенату. Судьи и высшие должностные лица могут быть преданы суду большинством в две трети голосов Палаты представителей. Затем они подлежат отстранению Верховной думой, но судимы должны быть в обычном суде. Даже внутри исполнительной власти полномочия императора ограничены, и в отношении законов он располагает лишь отлагательным вето. Самая пикантная деталь состоит в том, что царю отказывается в праве, которым пользуется самый смиренный из подданных: ему запрещено выезжать за границу. Нетрудно представить себе, какие чувства должен был испытать Николай I, читая это положение мятежной конституции.

Защита федерализма Муравьёвым не найдёт отклика ни в одном значительном политическом движении России вплоть до XX века. Империя должна была быть разделена на четырнадцать держав и две области, каждая — со своим законодательным (двухпалатным) и исполнительным органом. Хотя автор и был федералистом, он не предлагал национальной автономии для нерусских этнических групп, хотя некоторые национальные и территориальные деления и совпадали. Существовали Украинская и Кавказская державы. Но как для большинства их соотечественников, так и для самих декабристов, малороссы, как тогда называли украинцев, не были отдельной нацией в большей степени, чем донские казаки, которым была отведена особая область, а их язык считался лишь местным крестьянским наречием.

Северное общество, которое было возмущено готовностью Пестеля даровать Польше независимость, разумеется, не собиралось санкционировать ничего, что могло бы подорвать единство и величие России. И всё же, парадоксальным образом, в отличие от конституционного проекта Пестеля, этот проект не был проникнут русским шовинизмом и,

вероятно, невольно открывал дверь национальной автономии для таких крупных этнических групп, как украинцы и грузины.

Выбор Муравьёвым столицы для своей славянской Русской империи был хорошим доказательством его пламенного русского чувства. Петербург уже самым своим именем навевал мысль о чужеземном влиянии и связывался в народном сознании с авторитарным бюрократическим правительством, созданным Петром Великим. Москва напоминала о монгольском владычестве над страной и о деспотической узурпации власти её великими князьями. Поэтому новой столицей должен был стать Нижний Новгород, колыбель современной русской нации. В 1612 году, когда Россия была охвачена анархией, народ Нижнего Новгорода организовал войско, освободившее страну от иностранных захватчиков и внутренних смутьянов. Инициатива этого национального возрождения исходила не от какого-нибудь дворянина, а от местного мясника. Отсюда и историческая уместность этого волжского города как местопребывания правительства новой России.

«Все россияне равны перед законом». И всё же конституция совершенно ясно показывала, что одни должны были быть «равнее» других. Хотя она уничтожала бы все сословные различия и делала бы каждого русского свободным в выборе любой профессии, хартия Муравьёва устанавливала очень строгие имущественные цензы для избирательного права и занятия должностей. Чтобы считаться гражданином, нужно было иметь не менее пятисот рублей или движимое имущество стоимостью не менее тысячи; больше — если человек хотел участвовать в выборах на различные должности; ещё больше — если он хотел быть избранным на них. Чтобы стать членом федеральной Верховной думы, следовало быть поистине очень богатым человеком, владеющим имением, приносящим сто двадцать тысяч рублей годового дохода, или движимым имуществом вдвое большей стоимости. Во второй редакции своего проекта Муравьёв отказался от имущественных требований для гражданства и снизил цензы для занятия различных государственных и федеральных должностей. Но и тогда его Россией правили бы богатые.

Столь же неудовлетворительным с эгалитарной точки зрения было его предложение относительно крестьян. Крепостное право подлежало уничтожению, но частновладельческие крестьяне должны были быть освобождены без земли, которая сохранялась за их прежними хозяевами. [Военные поселения подлежали упразднению, а их жители при освобождении должны были получить землю, как и крестьяне императорских имений]. И здесь более либеральные члены Северного общества оказали давление на автора, и во второй редакции Муравьёв смягчил свою земельную реформу: крестьянин получал бы право собственности на своё жилище и приусадебный участок.

Нетрудно критиковать предложения Муравьёва как отражающие классовую точку зрения, тем более что он сам происходил из одной из самых богатых помещичьих семей страны. Но в то время в Европе не было ни одного государства, придерживавшегося принципа всеобщего мужского избирательного права. Даже в Соединённых Штатах большинство штатов всё ещё сохраняли имущественные цензы. Даже самый радикальный демократ колебался бы перед тем, чтобы вверить политическую власть подавляюще неграмотной крестьянской массе.

(Проект Муравьёва предусматривал, что через двадцать лет после его принятия конституция потребует грамотности как условия гражданства.) Если бы Муравьёв и большинство других декабристов руководствовались узким классовым интересом, они вообще не примкнули бы к революционному движению. Вопрос о крестьянской земле будет мучить русских государственных деятелей и реформаторов весь остаток столетия. И если Муравьёв решал его в соответствии с принципом, провозглашённым в его конституции, — «право собственности священно и неприкосновенно», — то не потому, что был ограничен «классово», как любят говорить советские историки, когда хотят покритиковать социальные и экономические взгляды декабристов, а потому, что очень немногие образованные русские тогда ещё могли представить себе иное решение проклятого вопроса о крепостничестве.

Эгалитарная и демократическая риторика проекта Муравьёва явно вступает в противоречие с предписываемой им по существу олигархической политической системой. Но ведь и вообще не многие политические доктрины и конституционные документы оказываются вполне последовательными. Последовательность не является ключом к политическому успеху. Более того, если что и делает эту конституцию не вполне утопической применительно к условиям России 1820-х годов, так это именно её недоктринёрский характер и признание того факта, что русский народ должен быть подготовлен к осуществлению политической ответственности, а не внезапно поставлен перед нею. То, что отличает проект Муравьёва от проекта Пестеля, — это его глубоко либеральная направленность. Он чужд национальной и религиозной нетерпимости Пестеля и гораздо более заботится о свободах гражданина. В отличие от идеолога Южного общества, Муравьёв не распространяется подробно о необходимости и устройстве тайной полиции. Он предлагает суд присяжных и *habeas corpus* и является непримиримым сторонником свободы слова и печати. Борясь против угнетательного и нетерпимого строя, многие русские революционеры в конечном счёте проявляли именно такие свойства и в собственной мысли, и в своих предписаниях для будущего страны; Никита Муравьёв был одним из немногих, кто этого не делал.

Того же нельзя сказать о Пестеле. Если национализм Муравьёва был смягчён либерализмом, то Пестель, который был немецкого происхождения, лютеранин по вере и провёл свои формирующие годы в Саксонии, был воплощённым русским националистом. Трудно приписать ему, как и его товарищам-декабристам, какую-либо последовательную идеологию. Но удобным обозначением для общего комплекса его политических идей было бы национал-социализм, если отвлечь это слово от новейших исторических коннотаций. Радикализм в социальных вопросах соединялся у Пестеля с агрессивным националистическим духом, и поражает, насколько в некоторых отношениях он предвосхищал ментальность советского коммунизма.

До широкого употребления термина «социализм» оставалось ещё несколько лет. И всё же, описывая свои политические взгляды следственной комиссии, Пестель воспользовался формулой, весьма сходной с марксовым определением классовой борьбы: «Мне казалось, что главная политическая тенденция нашего века есть борьба между массами народа и всякого

рода Аристократиями, основанными ли на богатстве или на наследственности».²⁵ Та же тема часто появляется в писаниях Пестеля, и именно этим, конечно, во многом объясняется его популярность у советских авторов. Такова, например, его критика буржуазного конституционализма: «...во многих государствах, имеющих представительные учреждения, право голоса принадлежит богатым, тогда как большинство граждан исключено. Таким образом аристократия богатства просто заменила феодальную, а народ в некоторых отношениях оказался политически даже в худшем положении, чем прежде, ибо поставлен в насильственную зависимость от плутократии».²⁶ Но было бы грубым упрощением видеть в Пестеле «преждевременного марксиста» или социалиста в современном смысле слова. Он не был экономическим эгалитаристом. «Богатые всегда будут существовать, и весьма полезно, чтобы они существовали».²⁷ Но, совершенно необычно для своего времени и общества, он хотел полностью отделить политическую власть и права от каких бы то ни было критериев богатства и собственности. Все сословные различия должны были быть уничтожены, все должны были быть равны перед законом. В России Пестеля должна была существовать аристократия — но аристократия заслуг; людей следовало возводить в дворянство за выдающиеся услуги государству и обществу.

Как ни радикален он был в социальных и политических вопросах, Пестелю трудно было предложить прямое решение чрезвычайно сложной крестьянско-земельной проблемы. Первая редакция его конституционного проекта предписывала постепенную отмену крепостного права в течение десяти-пятнадцати лет. Что касается частновладельческих крестьян, то подробности их освобождения и земельных наделов должны были быть выработаны комитетами помещиков, исходя из принципа, что «освобождение крестьян от крепостного состояния не должно лишать дворянство доходов с поместий».²⁸ Причина этого, на первый взгляд столь несообразного его эгалитарным посылкам, решения становится понятной из другого наставления Пестеля: «Эмансипация не должна быть допущена к тому, чтобы повести к бунтам и беспорядкам, и потому Верховная власть должна употреблять самые строгие меры против тех, кто угрожает порядку и спокойствию». Никакое социальное или политическое благо не должно было быть позволено ценой ущерба безопасности и единству Русского государства. Социальный реформатор в Пестеле был подчинён националисту.

Во второй редакции своего проекта, написанной в 1824–1825 годах, вождь Южного общества, по-видимому, двинулся к более радикальному решению. Крепостные теперь должны были быть освобождены немедленно, а их наделы должны были отрезаться от помещичьих имений, причём наиболее богатые из владельцев обязаны были безвозмездно уступить половину своей земли. Чтобы ещё более запутать дело, в обеих редакциях своего конституционного проекта Пестель выступал за то, что можно было бы назвать полунационализацией земли. Вся сельскохозяйственная территория страны должна была быть разделена на две части: одна половина должна была принадлежать уезду (низшей территориальной единице государства).

²⁵ Материалы, IV, с. 92.

²⁶ Материалы, VII (1958), с. 189.

²⁷ Материалы, VII, с. 189.

²⁸ Материалы, VII, с. 174.

Эта земля должна была раздаваться отдельным земледельцам, которым не позволялось бы ни продавать, ни сдавать в аренду, ни завещать свою долю. Другая половина земли страны могла находиться в частной собственности без каких-либо ограничений. Но основная мысль здесь прямо противоположна той, что лежит в основе обычного социалистического отрицания частной собственности. Каждый должен быть собственником. Всякий русский, желающий этого, имел право требовать земельный надел в своей общине, достаточный для содержания семьи из пяти человек. И, разумеется, те, кто был в состоянии, всегда могли купить и свободно распоряжаться землёй, оставленной для частного владения. Участок земли, становившийся долей каждого русского, должен был, как надеялся Пестель, не только дать нечто вроде социальной гарантии и устранить нищету, но и создать узы общественной солидарности, поскольку каждому взрослому гражданину гарантировалось, что «где бы он ни был и [каким бы ремеслом или занятием] ни искал своего счастья... он всегда мог бы найти убежище и пропитание в своей политической семье — уезде».²⁹

Подход Пестеля к крестьянско-земельному вопросу был, по меркам того времени, весьма революционным. Его взгляды нередко были непоследовательны и обнаруживали весьма слабое осознание огромных технических, политических и экономических трудностей, сопровождающих всякое решение этой проблемы — проблемы, которая будет ставить в тупик всех: правительства, реформаторов и революционеров — вплоть до конца царской эпохи и которая, в сущности, не исчезла и у советского правительства наших дней. Частная собственность, утверждает он, священна, и в то же время у самых богатых должна быть экспроприрована половина имущества. Деятельность каждого владельца надела как земледельца должна пересматриваться в конце каждого года, и, если он признаётся некомпетентным, его участок должен был возвращаться уезду — положения, обнаруживающие непонимание Пестелем технической стороны земледелия. Крестьянская община и её место в новом порядке вещей им вовсе не были рассмотрены.

Зато в подходе Пестеля к государственно-национальному вопросу нет никакой двусмысленности. «Россия есть одно государство нераздельное». Его страсть к русификации идёт дальше всего, к чему когда-либо стремились и цари, и Сталин. В государстве должна существовать только одна русская нация, а все прочие этнические группы подлежали ассимиляции. Даже сами названия «украинцы» и «белорусы» должны быть запрещены, поскольку «нет подлинных различий между различными подразделениями основного русского народа, а те малые, какие существуют, должны быть устранены».³⁰ Нерусские славянские и неславянские народы должны были подвергнуться тому же, хотя и более постепенному, ассимиляционному процессу. Наиболее категоричны предписания в отношении народов Кавказа. «Их надлежит разделить на категории: мирных и буйных; первых оставить на родине, но устроить по русскому образцу; вторых насильно переселить во внутренние области»³¹, то есть, предположительно, в Сибирь или Среднюю Азию. Жестокость этой рекомендации невольно напоминает печально известное наказание, которому Сталин

²⁹ Материалы, VII, с. 185.

³⁰ Материалы, VII, с. 139.

³¹ Материалы, VII, с. 144.

подверг в 1944 году якобы нелояльные кавказские народы, оторвав их от родных земель и массово депортировав в Казахстан. Русские колонисты должны были быть поселяемы на территориях, населённых другими этническими группами, чтобы укрепить процесс ассимиляции и единство государства. Ещё одно — и неприятное — сходство со сталинскими методами и ментальностью заключается в том, что все эти жестокие и шовинистические меры оправдываются именем прогресса и цивилизации. Будучи лютеранином, Пестель не испытывал ни малейших угрызений, настаивая, чтобы все церкви допускались лишь при условии отказа от подчинения какой бы то ни было иностранной власти, что, разумеется, означало бы изгнание из страны всего римско-католического и греко-католического духовенства и монашеских орденов.

После всего этого неудивительно обнаружить, что этот декабрист был ярко выраженным антисемитом. Иудейская «религия учит их покорять и властвовать над всеми другими народами... заставляет презирать прочие народы»³². Они избегают физического труда, стремятся монополизировать всякую профессию, в которую проникают, развращают общественную нравственность подкупом чиновников и так далее, в привычном уже наборе обвинений. Послереволюционное правительство должно было бы принять какие-то меры, чтобы положить конец антиобщественному и антихристианскому поведению евреев, хотя Пестель, быть может, милосердно не уточняет, каковы именно должны быть эти меры. Но один предварительный план, который он всё же выдвигает, состоит в том, чтобы собрать все два миллиона евреев из западных губерний и Польши и вытеснить их за турецкую границу, позволив им обосноваться в собственном государстве где-нибудь в Азии. [В то время лишь очень немногим евреям было дозволено проживать в самой России.] Но, увы, замечает Пестель, этот план сопряжён с практическими трудностями и потребовал бы «особенных обстоятельств и гениальной изобретательности». Подавляющая масса евреев империи тогда жила в крайней бедности, и, в отличие от Запада со времён Французской революции, никакого движения за устранение их юридических и гражданских ограничений в России не существовало. И всё же, по Пестелю, даже та небольшая терпимость, которую царское правительство проявляло к евреям, уже зашла слишком далеко: «Они пользуются большими правами, чем христиане», — бесстыдно заявляет он. Его антисемитизм носит явно религиозный, а не расовый характер. Обращённого в христианство еврея он не исключил бы из своей национальной общности, и в самом деле среди декабристов был один такой человек.

На первый взгляд может показаться удивительным, что этот яростный националист и ксенофоб был готов даровать Польше независимость и, к ужасу своих товарищей-декабристов, уступить ей часть русских (фактически преимущественно белорусских) земель, а именно части Виленской и Минской губерний, принадлежавших прежде Польско-Литовскому государству. Но при ближайшем рассмотрении эта независимость оказывается весьма ограниченной, если принять во внимание условия, которые Пестель ставит своему предложению. Польша должна была быть связана с Россией вечным союзом. Её политический и общественный строй должен был быть тождествен строю её могущественной соседки.

³² Материалы, VII, с. 146.

«Россия берёт Польшу под своё покровительство и гарантирует её существование и безопасность»³³. Короче говоря, это тот тип опеки, который СССР осуществляет сегодня над своими восточноевропейскими сателлитами, в том числе над Польшей.

Неудивительно и то, что Пестель был сторонником имперской экспансии. Многие из его территориальных целей были фактически достигнуты Россией позднее в этом же столетии: завершение кавказских завоеваний, Средняя Азия, Дальний Восток, где в 1860 году Муравьёв присоединит у Китая область вокруг нынешнего Владивостока. И, разумеется, на Россию возлагалась обязанность освободить в основном православное и славянское население из-под турецкого ига. Россия Пестеля, даже в большей степени, чем Россия царя, была бы государством воинственным и агрессивным. [Как ни странно, единственной подлинной уступкой, на которой он настаивал, была Аляска: её он предлагал попросту отпустить.]

Наиболее отчётливо авторитарный элемент, таящийся во многих революционерах, проявляется в рассуждениях Пестеля о тайной полиции. Этому посвящена особая глава его «Записок о государственном правлении», написанных до его главных конституционных проектов и, вероятно, уже в 1818 году. С оттенком поистине оруэлловским он называет тайную полицию «Ведомством высшего порядка благодетельства». «Тайное расследование, или шпионство, не только допустимо и законно, но есть самое надёжное, можно сказать единственное средство, посредством которого власть может достигать своих целей»³⁴. Поэтому деятельность этого ведомства порядка не должна была подлежать контролю со стороны судов. Оно должно было действовать в глубочайшей тайне, так что никто, кроме его собственных чиновников, не должен был даже знать о его существовании. В число его обязанностей входили: (1) надзор за другими ветвями правительства; (2) слежка за частными лицами, чтобы на ранней стадии выявлять всякое подрывное движение, тайные общества и незаконные собрания; (3) сбор сведений об иностранных посланниках и вообще об иностранцах. Чиновниками тайной полиции должны были быть люди высоких умственных и нравственных качеств. А чтобы привлечь таких людей, пишет Пестель с невольным юмором, им следовало платить гораздо больше, чем остальным государственным служащим, и гарантировать им анонимность. Если бы их занятие стало известно согражданам, это подорвало бы не только их эффективность, но и их репутацию!³⁵

Подобно якобинцам Французской революции, Пестель не видел никакого противоречия между демократией и политической нетерпимостью и репрессией. В его России не должно было быть места политическим партиям и вообще никаким объединениям, не санкционированным правительством. «Все частные общества... должны быть строжайше запрещены, будь они явные или тайные, ибо первые бесполезны, а вторые вредны».³⁶ И в нём было немало пуританства. «Развлечения и игры всякого рода, частные ли, общественные ли,

³³ Материалы, VII, с. 149.

³⁴ Материалы, VII, с. 230.

³⁵ Материалы, VII, с. 230.

³⁶ Материалы, VII, с. 204.

дозволительны лишь постольку, поскольку они не противоречат самой строгой нравственности».³⁷

Россия Пестеля — это государство благосостояния. Его сироты, неимущие и увечные должны были содержаться общиной, точнее — соответствующими уездами, либо в специальных учреждениях, либо посредством пособий. Всесоюзная сеть банков должна была предоставлять беспроцентный кредит до определённой суммы всякому, кто в нём нуждался. В каждом уезде должен был быть такой банк, капитал которого составлялся бы за счёт взносов всех граждан. Население каждого уезда должно было составлять от пяти до тридцати тысяч человек, что делало эту схему довольно нереалистичной для сельской России, большая часть населения которой жила почти на грани физического существования. Россия должна была иметь, как сказали бы мы сегодня, смешанную экономику. Государство должно было поощрять частное предпринимательство и содействовать изобретениям, промышленности и частному банковскому делу.

Свою предлагаемую конституцию Пестель озаглавил «Русская Правда». Ни одна из её двух редакций не слишком определённо говорит о фактической структуре правительства. К 1822 году, когда он писал первый вариант, Пестель уже был убеждённым республиканцем и отвергал идею имущественного ценза для избирательного права. В 1825 году он набросал краткий документ под названием «Наказ Государственному Завету». Здесь он предписывал вполне демократическое устройство. Законодательная власть должна была принадлежать всенародно избираемому Народному вечу, одна пятая состава которого подлежала ежегодному обновлению. Должно было существовать нечто вроде коллективного президента — Державная дума из пяти членов, также избираемых всенародно на пять лет, причём каждый из них по очереди становился бы главой государства. Державная дума осуществляла бы большинство обычных функций исполнительной власти. Кроме того, должен был существовать Верховный собор, состоящий из 120 членов, избираемых пожизненно, который не обладал бы собственными законодательными или исполнительными полномочиями (за исключением назначения главнокомандующего в военное время), но наблюдал бы за конституционностью и исполнением законов.

Пестель был неутомимым писателем, и среди его сохранившихся бумаг имеются заметки, фрагменты трактатов и наброски на самые разнообразные темы: военное дело, экономика, судопроизводство, наука, хозяйство. В нём была педантическая жилка. Нигде это не видно так ясно, как в его навязчивом стремлении изгнать иностранные термины из военной лексики и заменить их словами русского звучания, будь то заимствованными из московского прошлого или созданными им самим славянскими неологизмами. Подобная же щепетильность заставляла его осуждать купирование хвостов у лошадей, которое, по его мнению, должно быть запрещено, поскольку пришло из Англии и уродует красоту русского коня. При всём том что существующая форма русского солдата действительно была неудобной, всё же странно, что он находил время среди своих заговорщических и конституционных занятий для того, чтобы подробно набрасывать будущую одежду пехотинца (стесняющий тело мундир и тесные

³⁷ Материалы, VII, с. 207.

белые штаны до колен он заменил бы длинной рубахой и свободными зелёными шароварами, как у воина древности).

Но как бы забавно это ни выглядело, страсть Пестеля к подробностям и регламентации вовсе не малозначительна и не случайна для его мышления. На одном уровне он искал для своей любимой страны того, что считал свободой, господством закона и демократией. Но в действительности, подобно некоторым французским якобинцам, он бессознательно нащупывал то, что сегодня было бы названо тоталитарным обществом. Не только его безмерный национализм неизбежно делал бы его Россию более угнетательной (во всяком случае для нерусского), чем Россия царей. Его гражданин находился бы под постоянным наблюдением, наставлением и регламентацией. Те, кто отклонялся бы от предписанного им чрезвычайно узкого пути гражданской добродетели, не могли бы рассчитывать на снисхождение: «...если найдутся такие недостойные сыны Отечества, то [власти] должны будут принять против них решительные меры, дабы укротить их дикое поведение и сделать их неспособными вредить Отечеству, употребляя к тому самые скорые и беспощадные строгости».³⁸ В первом политическом мыслителе и теоретике среди декабристов уже можно обнаружить многое из той лихорадочной склонности к насилию и принуждению, которая отметит путь русского революционного движения.

Неудивительно, что взгляды Пестеля одновременно и притягивали, и отталкивали его товарищей-заговорщиков. Трудно судить, в какой мере он сам выражен в своих сочинениях. Даже Пестель не был свободен от тех внутренних сомнений и противоречивых побуждений, которые поражали и его собратьев-декабристов, — от чувства, что всё их революционное заговорничество и писание происходят как бы в иной плоскости реальности, нежели та, в которой они фактически жили как офицеры и верноподданные императора. До своего обращения в республиканство Пестель принадлежал к тем, кто ещё надеялся, что царя можно убедить снова стать реформатором и освободить страну от зол крепостничества и абсолютизма. Александр, хотя и был осведомлён о подозрительных связях и взглядах Пестеля, всё же продолжал ценить его как блестящего офицера и военного мыслителя. В Тульчине, где он служил при штабе Второй армии, Пестель сблизился с её начальником штаба генералом Павлом Киселёвым, будущим министром Николая I и одним из немногих просвещённых и реформаторски настроенных чиновников эпохи мрачной реакции. Генерал-адъютант (один из главных флигель-адъютантов царя), Киселёв принадлежал к числу тех сановников времён Александра, которые также поддерживали личные связи с некоторыми будущими мятежниками, и почти нет сомнения, что он по крайней мере догадывался о том, чем они занимаются.

В 1821 году наконец сочли желательным отстранить Пестеля от штабной службы, и он был назначен командиром Вятского полка, считавшегося тогда одним из самых плохо устроенных и беспорядочных во всей армии. Двадцатисемилетний полковник вскоре довёл своё подразделение до такого уровня исправности и боевой готовности, что Александр I, увидев его на манёврах, признал полк равным гвардии. Но ради установления дисциплины Пестель

³⁸ Материалы, VII, с. 160.

проявил себя беспощадным: солдат его секли за малейшую провинность или неумелость на учении.

Одновременно строевой педант, карьерист и идеалист, этот странный человек пользовался широкой репутацией, особенно среди декабристов северной ветви, как человек, питающий диктаторские замыслы. Конечно, в своём конституционном проекте он подходит настолько близко, насколько это вообще было возможно в то время, к идее народного суверенитета, и в его России не было бы даже единоличного главы государства, а существовало бы коллективное председательство из пяти лиц. Но тут был подвох. «Русская Правда» в его понимании не должна была вводиться немедленно после революции. Её подзаголовок провозглашал её «Наказом Народу и Временному Верховному Правительству». Последнее же должно было быть диктатурой и продолжаться около десяти лет. Излагая в 1824 году свои идеи некоторым членам Северного общества, которое он хотел слить с Южным, то есть под своим руководством, Пестель выражался вполне определённо:

«Принцип конституционных проектов должен быть известен только руководителям Общества и не должен быть [широко] распространён... Руководители должны сперва уничтожить членов императорской фамилии и принудить Святейший Синод и Сенат провозгласить их временным правительством, которое получит неограниченную власть... Временное правительство, распределив между членами общества министерства, военные начальства и т. д., будет затем постепенно, в течение нескольких лет, вводить новый порядок. Всё это время общество будет продолжать существовать и принимать новых членов, и никто, кроме члена общества, не сможет занимать [высокую] гражданскую или военную должность».³⁹

Таким образом, перед нами проект однопартийной диктатуры, и весьма сомнительно, насколько по-настоящему «временным» предполагалось это устройство.

В частных разговорах Пестель часто выражал своё восхищение Наполеоном и, по крайней мере время от времени, мыслил себя диктатором. Его ближайшие сотрудники в Южном обществе по большей части находились под его обаянием. Он энергично обхаживал северных декабристов, стараясь подорвать там влияние Никиты Муравьёва, который после переворота предполагал созыв учредительного собрания для принятия конституции. Пестель считал Муравьёва главным препятствием — и политическим, и личным — своим замыслам. Его подход нередко был весьма неискренним. Как свидетельствовал Рылеев, северный декабрист:

«Помню, как Пестель старался меня выкурить. В продолжение двух часов разговора он поочерёдно бывал то поклонником Соединённых Штатов, то Наполеона, то сторонником террора, то приверженцем английской конституции... но спустя некоторое время он согласился со мной, что английская система устарела; современный уровень просвещения народов требует более прогрессивных учреждений и большей свободы... но если уж нам нужен диктатор, то пусть он будет вроде Наполеона. До каких высот он поднял Францию».⁴⁰

³⁹ Материалы, I, с. 324.

⁴⁰ Материалы, I, с. 178.

Влияние Пестеля на южных декабристов основывалось не только на его личном обаянии, о котором говорил, в частности, Пушкин, но и на той атмосфере самоуверенности и таинственности, которая его окружала и которая так часто является важной составляющей в создании политического вождя. Хотя по меркам времени он был хорошо образован, его сподвижники в большинстве своём были политически неискушёнными и, если не считать их заговорщической деятельности, беспечны в традиционной манере молодых офицеров и аристократов. На их фоне выделялся человек, который, казалось, жил исключительно ради дела и который, помимо того что был блестящим военным администратором, обладал даром законодателя и политического философа. Но в Северном обществе были такие люди, как Никита Муравьёв и Николай Тургенев, — интеллектуально равные Пестелю и не принимающие его идей, прозревавшие его макиавеллизм. Получив отпор в своих усилиях захватить руководство всем движением, Пестель стал жертвой сомнений и колебаний. Ему приходила мысль, что, быть может, будущая конституция России должна была бы стать сплавом его собственного проекта с проектом Муравьёва. Но трудно представить, как мог бы быть достигнут компромисс между столь диаметрально противоположными философиями. Что до него самого, то Пестель намекнул одному другу, что после революции удалится в монастырь.⁴¹ И опять — парадоксальная мысль, выдающая смятённый ум: лютеранин, становящийся православным монахом. Но это было не просто позой, о чём свидетельствуют письма Пестеля к семье в 1825 году. Его мысли всё больше обращались к религии, и после пятилетнего перерыва он исповедался и причастился. После ареста он показал: «Полностью и откровенно признав свои либеральные и радикальные идеи, я должен прибавить, что в течение 1825 года власть их надо мною ослабела, и я начал смотреть на вещи иначе, но было уже поздно поворачивать назад».⁴²

По мере приближения катастрофы 14 декабря 1825 года два главных теоретика и движущих духа заговора пали духом. Никита Муравьёв за несколько недель до роковой даты удалился в имение своей жены. Пестеля охватило нечто вроде апатии. «Писание “Русской Правды” уже не шло так легко, как прежде. От меня требовали, чтобы я спешил, но дело просто не ладилось, и в течение целого года я не мог прибавить к ней ничего нового... Я ещё иногда возбуждался в разговорах, но ненадолго, и это было уже не то, что прежде».⁴³

Ход событий, хотя и совершенно не так, как ожидали их участники, двигался к мрачной развязке драмы декабристов. В 1823–1825 годах было немало разговоров о захвате императора и либо принуждении его к дарованию конституции, как того предпочитало большинство северян, либо избавлении от него, что, по крайней мере внешне, составляло позицию Пестеля и его сторонников на юге. Конституционный спор внутри тайного общества мог лишь ещё более затруднить разработку какого-либо конкретного плана действий. Поэтому, хотя в 1825 году было окончательно решено захватить Александра во время его ожидаемого присутствия на осенних манёврах Третьего армейского корпуса в 1826 году, маловероятно, чтобы, останься он жив, заговорщики нашли бы достаточно решимости или средств для осуществления своего

⁴¹ Материалы, IV, с. 160.

⁴² Материалы, IV, с. 92.

⁴³ Материалы, IV, с. 92.

плана. Как признал Пестель: «Я твёрдо уверен, что если бы император Александр Павлович продолжал жить, то при всём развитии тайного общества революция не началась бы до его естественной смерти».⁴⁴ Как бы то ни было, план предусматривал убийство императора, после чего Третий корпус, возглавляемый декабристами, должен был двинуться на Киев и Москву. Ожидалось, что к нему присоединятся и другие войска. На севере революционные заговорщики должны были захватить столицу, отправить других членов императорской семьи за границу и принудить Сенат издать манифест, узаконивающий новый режим. Пестель, вероятно, был прав, когда, рассказывая об этом царским следователям, подчёркивал полную нереальность замысла: «Если рассматривать этот план в сопоставлении со средствами Южного общества... можно ясно увидеть, что он [план] не имел ни малейшего шанса на успех. Он лишь отражал нашу опрометчивость и нетерпение, которые по мере приближения времени исполнения, несомненно, уступили бы место рассудку».⁴⁵ Вполне вероятно, что уничижительные замечания Пестеля были сделаны с целью уменьшить свою вину в глазах царских судей. Однако имеются и свидетельства того, что практически накануне роковых событий вождь Южного общества действительно становился всё более нерешительным и колеблющимся. Он признался одному сообщнику, что подумывал отправиться к императору, во всём признаться и умолять его провести необходимые реформы.

Тем временем обречённый заговор расширял сферу своей деятельности. Некоторое время Южное общество поддерживало связи с подпольной польской организацией, добивавшейся полной независимости Польши. В январе 1825 года Пестель и князь Сергей Волконский встретились с её эмиссарами, чтобы выяснить, можно ли выработать общий план действий. Обе стороны, что весьма характерно, старались произвести друг на друга впечатление тем, что из снисходительности можно назвать приукрашиванием истины относительно своих ресурсов и связей. Поляки дали понять, что они не только поддерживают отношения с революционными организациями в главных европейских странах, но и что «английское правительство имеет связи с польской тайной организацией и снабжает её деньгами, обещая также доставить оружие».⁴⁶ (Когда это сообщение было доведено до сведения царских чиновников после поражения восстания, оно вызвало у правительства лихорадочные поиски каких-либо доказательств связи Британии с революционным движением в империи — вероятно, это был один из самых ранних примеров традиционной русской веры в то, что корни внутреннего инакомыслия находятся за границей. Но нет никакого сомнения, что, хотя у польского дела и было много друзей среди либеральных английских политиков, между британским правительством и революционными движениями того времени — как в собственно России, так и в Польше — не существовало ни малейшей связи.) Со своей стороны русские представители дали польским собеседникам понять, что если те надеются на то, что новая Россия дарует Польше независимость, то они должны согласовать свои действия с действиями декабристов. В частности, Пестель желал, чтобы с началом революции в России поляки воспрепятствовали любой попытке великого князя Константина [Он был главнокомандующим

⁴⁴ Материалы, IV, с. 103.

⁴⁵ Материалы, IV, с. 104.

⁴⁶ Материалы, IV, с. 118.

не только польской армией, но и так называемым Литовским корпусом, состоявшим из войск в западных губерниях России, соседствовавших с Царством Польским] прийти на помощь брату. Поляки должны были «позаботиться» о великом князе (то есть, предположительно, убить его) и вообще связать своё революционное движение с движением русских мятежников. Поскольку обе стороны были не вполне откровенны друг с другом, переговоры ни к чему не привели.

На своем пути к гибели декабристы сумели втянуть и увлечь за собой крушение еще одной организации. Это было Общество соединенных славян, которое существовало среди офицеров Второй армии с 1823 года совершенно независимо от декабристов и без их ведома. Неудивительно, что эта организация — еще один пример охватившей русскую молодежь, да и весь континент, [Чем объясняется внезапное бурное разрастание в посленаполеоновской Европе организаций такого рода? Вероятнее всего, следующим: распадом прежнего общественного уклада с его традиционными, преимущественно религиозными, формами удовлетворения потребности в участии; интеллектуальным брожением, вызванным Французской революцией; и, наконец, попыткой большинства европейских правительств после 1815 года повернуть время вспять, чтобы сдерживать умственное любопытство и новое политическое самосознание человека XIX века.] страсти к тайным обществам — поначалу не привлекла внимания ни правительства, ни их предшественников по заговору.

Членами Общества соединенных славян были молодые офицеры, разбросанные по гарнизонам Украины, нередко служившие в тех же самых полках, что и участники Южного общества. Но по большей части они были моложе по чину и, если говорить об их происхождении и имущественном положении, весьма отличались от Муравьевых, Трубецких и прочих представителей старинной знати и крупных землевладельцев, которых можно было встретить среди старших декабристов. Это были, как правило, сыновья обедневших помещиков и мелких чиновников; их воспитывали не иностранные гувернеры и не специальные академии, а родители или убогие местные школы того времени. Где же тогда они могли воспринять идеи инакомыслия? Этот вопрос, очевидно, ставил в тупик царских следователей по делу о восстании декабристов, считавших либерализм, конституционализм и прочие формы подрыва устоев иностранным заносом. Одним из их обычных вопросов обвиняемым был следующий: «Где вы получили образование и от кого усвоили те подрывные идеи, которые привели вас к преступному намерению изменить установленный порядок вещей?» На что один из основателей Общества соединенных славян, Петр Борисов, ответил:

«Я воспитывался дома, под руководством отца... Уже в юности чтение греческой и римской истории наполнило мой ум любовью к демократическому правлению. И это чувство впоследствии укрепилось во мне [при виде] жестокого обращения некоторых командиров с подчиненными, страданий, причиняемых крестьянам столь многими помещиками, а также несправедливостей, которые я сам испытал на службе».⁴⁷

⁴⁷ Материалы, V (1926), с. 28.

Но помимо подобных простых и благородных чувств программа Общества соединенных славян представляла собой мешанину фантастических идей. Каким-то образом — в отличие от старших ветвей декабристского движения, они никогда не задумывались над тем, как именно и когда, — Россия должна была превратиться в республику, а крепостное право — быть уничтожено. Затем, тоже неким неопределенным образом, остальные славянские народы должны были освободиться от иностранного и внутреннего гнета и образовать федерацию свободных республик.

Пыл этих молодых людей в отношении славянского единства был куда сильнее их знания истории и географии славян. Так, они включали в число славян венгров, полагали, что жители Богемии и Моравии принадлежат к разным национальностям, по-видимому, вовсе не замечали существования болгарского народа и, что всего загадочнее, при том что некоторые из Соединенных славян были уроженцами Украины, не считали ее население отличным от великороссов.

О существовании Общества соединенных славян стало известно некоторым членам Южного общества во время летних маневров Третьего армейского корпуса в 1825 году, и к тому времени, когда учения закончились в середине сентября, оба тайных общества слились. Некоторые члены более молодого заговора неохотно соглашались раствориться в общем движении декабристов. Но их склонили красноречивые, хотя и недобросовестные, доводы Бестужева-Рюмина, выступавшего главным вербовщиком: движение декабристов уже стало мощной силой и вот-вот нанесет самодержавию смертельный удар. Намеченный государственный переворот не может не удался, если среди заговорщиков находятся не только большинство полковых командиров в их районе, но и такие прославленные военные деятели, как генерал Павел Киселев и генерал Алексей Ермолов, главнокомандующий на Кавказе. Молодые неопиты не могли не быть впечатлены этим созвездием князей, генералов и полковников, к которым им предстояло примкнуть в общем революционном деле. Столь же неправдив был Бестужев и тогда, когда уверял их, будто конституция, которой его тайное общество собирается наделить Россию, существует уже с 1815 года и была одобрена ведущими умами Европы. Все это чрезвычайно волновало тех неопытных и наивных поручиков и прапорщиков. Однако Бестужев-Рюмин едва не перегнул палку, когда стал расписывать, какими почестями и богатствами благодарное отечество вознаградит своих спасителей: «Наградой за ваши жертвы будет не смерть, а высокие почести и достоинства. Вы молоды, и впереди у вас не венец мученичества, а слава и счастье».⁴⁸ Тут среди молодых идеалистов поднялся возмущенный ропот, раздались крики, что оскорбительно даже предполагать, будто они способны думать о награде за свой патриотический труд. Бестужев-Рюмин поспешно сменил тему.

Этот юный макиавеллист вряд ли мог внушать большое доверие: ему был всего двадцать один год, он отличался развязностью и болтливостью. Но Сергей Муравьев, чья личность и прошлое внушали уважение, подтвердил рассказ своего близкого друга. В результате Общество

⁴⁸ Цит. по: Горбачевский, с. 28.

соединенных славян решило распустить собственную организацию и подчиниться руководству Южного общества.

Почти сразу же начались столкновения между нетерпеливыми неопитами и их новыми союзниками. Когда должен состояться переворот? Муравьев объяснял, что он намечен на следующее лето. Почему же ждать так долго и, во всяком случае, не следует ли уже теперь начать революционную агитацию среди солдат? Старшие были шокированы. Никакой такой агитации не требуется: русский солдат не понимает политики, но всегда повинуется своему командиру. А если у него все же возникнут сомнения насчет выступления против императора, офицер объяснит ему это как религиозный долг. «Наши солдаты — добрые, простые люди. Они мало думают и потому должны служить лишь орудием для достижения наших целей»⁴⁹.

То, что Муравьев, хорошо известный своим гуманным и внимательным отношением к солдатам, мог выражаться столь бесцеремонно, служит убедительным доказательством того, насколько он находился под влиянием Бестужева. И действительно, для большинства людей, знавших их обоих, оставалось загадкой, чем объясняется их близость и то влияние, которое этот молодой хвастун и интриган оказывал на старшего товарища.

Много позже, размышляя о слиянии, Горбачевский, член Общества соединенных славян, довольно горько писал о Южном обществе:

«[Его члены] были по большей части людьми из высших классов. Они намеревались осуществить переворот исключительно военными средствами, без участия масс. [Но даже] офицерам и нижним чинам они не могли заранее открыть свои конечные цели. Первых надеялись увлечь одним лишь энтузиазмом движения и разными обещаниями, вторых... подкупом и угрозами. Кроме того... члены Южного общества были в большинстве своем людьми зрелого возраста, занимавшими достаточно важное положение... Напротив, Соединенные славяне были без исключения молоды, страстны, наивны и нетерпеливы. Им было не свойственно ограничиваться благочестивыми желаниями. Они жаждали действия, страстно хотели увидеть свои мечты осуществленными. Им не мешало ни то, что другие считают их себе неравными, ни необходимость подавлять личные стремления ради общего дела, потому что им еще не доводилось вкусить пресловутых плодов власти».⁵⁰

При всех сословных и темпераментных различиях между старыми и новыми членами присоединение Соединенных славян должно было бы придать Южному обществу значительный приток сил: около пятидесяти молодых и энергичных людей. Но то, что было справедливо для всего декабристского движения в целом, оказалось справедливо и для Южного общества в последние оставшиеся месяцы его существования: не было ни катализатора, ни руководства, способного превратить революционные идеи и планы в революционное действие. Новые члены действительно внесли некоторое оживление в тайную организацию. Некоторые из них начали агитацию среди нижних чинов. Но при отсутствии общего плана действий агитаторы были не в состоянии по-настоящему идейно обработать солдат. Те внимательно слушали, когда им говорили то, что им и без того было известно, — что жизнь для большинства русских тяжела и несправедлива, — но не понимали, чего же

⁴⁹ Горбачевский, с. 30.

⁵⁰ Горбачевский, с. 33-34.

именно от них хотят. «Их сердца и умы были взволнованы смутным чувством, что существующий порядок вещей должен быть изменен. Им хотелось чего-то нового, но чего именно? На этот вопрос они не могли дать ясного ответа».⁵¹

Но дни заговора были уже сочтены. Правительственные чиновники и прежде получали намеки на существование тайных обществ. Однако лишь в 1825 году осведомители внутри Южного общества дали режиму более полное представление о заговоре. Будь царский режим более действенным, он мог бы выступить против заговорщиков задолго до восстания 14 декабря. Но столь же несомненно и то, что, не случись необычного поворота событий — совершенно неожиданной смерти Александра в ноябре, — никакого государственного переворота не было бы: заговорщиков арестовали бы задолго до августа 1826 года, намеченного ими срока выступления. Если бы аресты произошли в тот момент, когда масштабы их деятельности стали известны, новому режиму Николая I удалось бы избежать травматического потрясения, каким стало восстание. Новый царь, хотя и не был человеком, который сам начал бы вводить конституционный строй, весьма вероятно, все же предпринял бы шаги к решению некоторых насущных социальных язв страны, таких как крепостное право. Таким образом Россия, возможно, избежала бы тридцати лет реакции и застоя; а если бы не было 14 декабря, с заговорщиками, вероятно, обошлись бы гораздо мягче, и они вошли бы в историю как благородные мечтатели и дилетанты-революционеры, но без того ореола романтики и мученичества, который окружил декабристов впоследствии. На деле же события 14 декабря 1825 года открыли пропасть между русским обществом и имперским правительством, пропасть, которую уже никогда не удалось преодолеть.

В 1823 году Северное общество приобрело нового члена, которому суждено было сыграть решающую роль в событиях, приведших к восстанию. Кондратий Рылеев был поэтом весьма скромного дарования, но его стихи широко читались благодаря их патриотическим и радикальным темам. Сын обедневшего офицера, он был вынужден рано оставить армию в чине подпоручика, чтобы искать более доходную гражданскую службу. В конце концов он поступил чиновником в Российско-американскую компанию, управлявшую Аляской. Молодой поэт был человеком действия, который, в отличие от большинства своих сообщников, не мог довольствоваться бесконечными рассуждениями о том, что нужно будет сделать после революции. Он также умел передавать другим свой энтузиазм и свою нетерпеливость. Правительственная комиссия, расследовавшая неудавшийся переворот, так подытожила вклад Рылеева:

«Комитету известно, что к 1823 году Северное общество состояло из сравнительно немногих деятельных лиц и уже близилось к прекращению своего существования. Но, вступив в него, вы стали одним из самых ревностных и деятельных его членов и с помощью некоторых лиц на юге вдохнули в него новую жизнь, привлекли новых сообщников, над которыми господствовали и которых пропитывали либеральными идеями... Таким образом расширяя сферу подрывной деятельности... вы в конечном счете стали главным двигателем событий 14 декабря».⁵²

⁵¹ Горбачевский, с. 35.

⁵² Материалы, I, с. 167.

Хотя это суждение преувеличивает степень деморализации заговорщиков до вступления Рылеева, его оценка роли Рылеева в целом верна. Его положение в Северном обществе соответствовало положению Пестеля на юге. Но источники их влияния были различны. Влияние Пестеля основывалось на его интеллектуальном превосходстве над последователями, на их благоговении перед его ученостью и способностью строить развернутые теоретические планы. Но ему недоставало той уверенности в себе и способности покорять не только умы, но и сердца, которые столь важны для революционного вождя. Напротив, Рылеев благодаря своему дару дружбы, своему энтузиазму и чистой жизненной энергии умел рассеивать сомнения и колебания товарищей и тем самым толкать их к действию. Но он был и склонен к безрассудству и плохо разбирался в людях.

Человек, созданный для общения, Рылеев превратил свою скромную квартиру в центр революционной жизни Петербурга. Туда постоянно стекались посетители: гвардейские офицеры, литературные знаменитости, либерально настроенные чиновники. Мало заботясь о конспиративных предосторожностях, ветераны-декабристы смешивались и беседовали о радикальной политике со случайными знакомыми хозяина, которых он надеялся привлечь к делу. Гостеприимство было сердечным, хотя угощение отличалось простотой; однако «русские завтраки» Рылеева вскоре прославились по всей столице именно благодаря своей возбуждающей и необычной простоте, если сравнивать их с петербургскими салонами. В отличие от домов более состоятельных декабристов, здесь гостям подавали не шампанское, а водку, а главным блюдом были щи, дополненные щедрыми ломтями ржаного хлеба. И много пения. Рылеев верил, что подрывные песни — очень действенное средство революционной пропаганды. Одну из них он сочинил сам: в ней высмеивалась царская страсть к военным парадом и строевой муштре и делались неделикатные намеки на немецкое происхождение и манеры императорской семьи. Но некоторые песни имели и более серьезные темы. В переделке одной популярной песенки рассказывалось, как кузнец точит три ножа: один для вельмож, один для духовенства и один — чтобы поразить царя. Гости, среди которых были отпрыски самых знатных русских семейств, большинство из них офицеры на действительной службе, с восторгом подпевали. Эта бодрящая атмосфера резко отличалась от мрачных рассуждений о будущей конституции, занимавших многих сообщников Рылеева. Он принадлежал к тем людям, которые живут ради самого революционного мгновения и не слишком заботятся о том, что будет после.

И потому он должен был учитывать различные возможности. Среди его знакомых были высокопоставленные государственные деятели, такие как Михаил Сперанский, вновь занимавший важное место в имперском управлении, и адмирал Николай Мордвинов, сенатор и бывший министр финансов, один из первых русских писателей по экономике. И хотя ни тот, ни другой не могли открыто проповедовать подобные идеи, обоих считали сторонниками реформ и постепенного отхода России от самодержавия. Сперанский сохранял значительную часть своего прежнего либерализма, а Мордвинов, женатый на англичанке, был большим почитателем британской конституции. Такие лица, полагали Рылеев и его товарищи, конечно, не могли открыто поддержать заговор, но едва ли не догадывались о том, что происходит в умах молодых людей, чье знакомство они поддерживали. И в решительный момент поддержка

таких людей, как Сперанский и Мордвинов, если бы удалось склонить их поставить свой громадный авторитет на сторону революции, могла бы оказаться весьма полезной.

Рылеев не был фанатиком. Образцом будущего устройства России для него служила американская конституция. Стране, однажды объяснял он Пестелю, нужен Вашингтон, а не диктатор вроде Наполеона — на такую роль, как ему казалось, претендовал его собеседник. Но нельзя было исключать, что для свержения режима потребуются крайние меры и помощь совсем иных людей, не похожих на таких старших сановников, как Сперанский и Мордвинов. Поэтому он искал и потенциальных убийц. И лучше всего, чтобы они не были слишком тесно связаны с самим тайным обществом. Русский народ мог бы не слишком благосклонно отнестись к новому режиму, если бы руки его вождей были запятнаны кровью Помазанника Божьего. В окружении Рылеева было два человека, которые, как он думал, могли бы послужить делу устранения императора так, чтобы вина не пала на декабристов.

Петр Каховский, хотя и был принят в общество в 1825 году, не был посвящен в его планы. Этот двадцативосьмилетний бывший поручик во многом являл собой прообраз будущей длинной череды русских террористов. Углубленный в себя и эмоциональный, он прожил жизнь, полную личных несчастий и служебных разочарований. К Рылееву, который, несмотря на собственную стесненность в средствах, поддерживал его материально, Каховский не раз обращался с признаниями в намерении поразить царя. Но момент еще не настал, и Рылеев убеждал друга отказаться от этого шага, указывая, что вслед за его арестом последует разгром тайного общества.

Другим самозванным кандидатом в тираноубийцы был капитан Александр Якубович. В отличие от Каховского, у Якубовича была личная обида на царя. За участие в дуэли в качестве секунданта Александр I отстранил его от службы в гвардии и перевел в линейный полк на Кавказ. Там Якубович отличился всяческими подвигами в боях с горцами, но одновременно подтвердил свою репутацию скандалиста, вызывавшего товарищей-офицеров на поединок при малейшем поводе и неизменно стремившегося в действительной дуэли искалечить противника. Получив ранение в голову, вспыльчивый офицер был уволен из армии по инвалидности. Высокий ростом, с военной осанкой, с черепом, так и не зажившим полностью и прикрытым черной повязкой, он в ту пору был колоритной фигурой в петербургском обществе. Хвастун и пустослов, Якубович рассказывал всем и каждому, кто готов был слушать, о незаслуженном оскорблении, нанесенном ему монархом, и о том, как он намерен отомстить. В декабристах сохранилось хотя бы немного здравого смысла: они никогда формально не приняли Якубовича в тайное общество. Но для Рылеева он был еще одним человеком, которого при случае можно было «спустить с цепи».

Настанет ли когда-нибудь такой случай? При всем своем революционном пыле и всех своих замыслах Рылеев, который в 1825 году вошел в трехчленную дирекцию Северного общества, был еще далек от того, чтобы выработать настоящий план и календарь восстания. Поскольку к концу года правительство уже готовилось арестовать вождей Южного общества, почти несомненно, что рано или поздно такая же участь постигла бы и северных декабристов. Но как

раз в тот момент, когда заговор уже распутывался, 19 ноября Александр I скончался в южном городе Таганроге.

Известия о его болезни некоторое время просачивались в столицу, но никто не ожидал смертельного исхода — императору было всего сорок восемь лет. Известие о его смерти, объявленное двадцать четвертого числа, поразило Петербург как громом. За этим последовали две недели полнейшего замешательства, в течение которых Россия фактически оставалась без правителя, а правительственная машина была парализована. Из этого хаоса и выросло восстание. Нерешительные, неорганизованные заговорщики были втянуты ходом событий — почти против собственной воли — в действие. Настолько велика была слабость потерявшего управление государственного корабля, что это поспешно состряпанное, половинчатое и дилетантское восстание едва не привело к падению самодержавия.

Причина этой неразберихи крылась в запутанном вопросе престолонаследия. Поскольку Александр не имел детей, его наследником, как все предполагали и как требовал закон, должен был стать следующий по возрасту брат — великий князь Константин. Только в пределах императорской семьи понимали, что Константин и по характеру непригоден к правлению, и сам не желает его.

Отвращение великого князя к короне восходило к травме убийства его отца. Он опасался, что такая же судьба постигнет и его, если он когда-нибудь взойдет на престол. Уже почти десять лет он жил в Варшаве в качестве главнокомандующего польской армией и фактического наместника страны. Его симпатия к полякам в ущерб собственным соотечественникам была не в последнюю очередь связана с тем, что польская история не знает ни одного случая цареубийства. Константин унаследовал неуравновешенность отца, с ее внезапными переходами от рыцарственности к жестокости. При всей своей привязанности к полякам он порой публично оскорблял офицеров, и некоторые из них, повинаясь кодексу чести, тогдашнему в полном ходу, кончали с собой. Слухи об этих и других его выходках доходили до России, но, поскольку Константин был лишь на два года моложе Александра, никто особенно не задумывался о возможности его вступления на престол.

В 1822 году, уже женатый на польке-простолюдинке, Константин направил Александру частное письмо, в котором предлагал отказаться от своих прав на престолонаследие. Тогда Александр предпринял весьма странный шаг. Письмо брата так и не было обнаружено. Вместо этого в 1823 году в документе, тоже оставшемся тайным и существовавшем всего в трех экземплярах, царь назначил своим наследником следующего брата — гораздо более молодого Николая, которому тогда было двадцать девять лет. По причинам, так никогда и не выясненным, Александр распорядился империей так, словно речь шла о его частном имении. Даже самому Николаю прямо не сообщили, что престол минует Константина, и не готовили его к будущей ответственности: его занятия оставались исключительно военными.

Через несколько дней после объявления о смерти Александра содержание тайного документа стало известно высшим сановникам империи. Но к тому времени и они, и армия уже присягнули императору Константину I. То же сделал и Николай, боявшийся малейшего

подозрения в попытке отнять корону у старшего брата. Последний же повел себя вполне в духе своего неуравновешенного характера: он ни на мгновение не желал признавать себя императором и отказывался выехать из Варшавы или сделать публичное отречение от престола. Так, пока гонцы скакали туда и обратно между Петербургом и Варшавой, вся государственная машина остановилась.

Несмотря на все годы подготовки к смерти императора, когда она действительно наступила, декабристы оказались неспособны действовать — яркое свидетельство химеричности и мечтательного характера всех их революционных замыслов. Южное общество, находившееся далеко от главной сцены событий и полностью рассеянное, сохраняло молчание. Их петербургские товарищи погрузились в лихорадочные обсуждения: были вновь подняты и горячо обсуждены все революционные сценарии последних девяти лет. Лишь затянувшийся кризис, казавшийся полной дезорганизацией режима, навязал колеблющимся и спорящим заговорщикам убеждение, что необходимо что-то предпринять.

Это «что-то» было слеплено из обрывков прежних планов восстания. По существу, задумывался дворцовый переворот, осуществляемый частями гвардии, где офицерами служили члены тайного общества. Однако целью должно было стать уже не свержение одного человека ради другого, а установление временного режима, который созвал бы национальное собрание, а оно, в свою очередь, должно было провозгласить Россию республикой или конституционной монархией. Когда стало ясно, что Николай все же будет возведен на престол, в план проник элемент обмана. Заговорщики собирались воспользоваться молчанием Константина и убедить солдат, будто Николай — узурпатор, стремящийся отнять корону у законного государя. Обсуждались и иные варианты, потом отвергнутые: провозгласить регентство от имени семилетнего сына Николая, будущего Александра II; провозгласить монархом вдову покойного императора Елизавету, а затем склонить ее к отречению. Короче говоря, заговорщики мало верили в действенность революционных или конституционных лозунгов: по крайней мере вначале русский народ следовало привлечь к делу посредством обмана. Рылеев и его товарищи в последние дни даже проверяли, сработает ли эта уловка. Смешиваясь с солдатами и толпами на улицах, они убедились, что народ совершенно сбит с толку, а в воздухе носятся самые фантастические слухи: будто Николай заточил брата, будто истинное завещание Александра скрывают и т. д.

Надо отдать им справедливость: даже намереваясь победить хитростью, декабристы не собирались, захватив власть, забыть свои идеалы. Одновременно с переворотом предполагалось опубликовать манифест, вводящий далеко идущие реформы, еще до созыва национального собрания. [Не уточнялось, кто именно будет иметь право участвовать в голосовании за него.] Этот манифест должен был немедленно отменить крепостное право, распустить военные поселения и уничтожить налоги и монополии, особенно тяжкие для низших классов. Все граждане объявлялись равными перед законом, судебные разбирательства с участием присяжных — открытыми, срок военной службы сокращался с двадцати пяти до пятнадцати лет, что должно было обеспечить перевороту широкую поддержку среди солдат. Хотя некоторые из этих мер были, очевидно, еще недостаточно

продуманы — например, не уточнялось, будет ли крестьянам после освобождения дана земля, — это воззвание все же представляло собой ясное обязательство перед новой, совершенно иной Россией и доказательство того, что декабристы не стремились к власти ради самой власти.

Но сомнения и колебания вернулись, когда дело дошло до самой механики восстания. Никто не возражал против ставки на имя Константина, но было сомнительно, что одного этого окажется достаточно для успеха. Некоторые, особенно неугомонный Якубович, убитый горем из-за того, что смерть Александра лишила его мести, требовали крайних мер: нужно, мол, поднять массы, воспользоваться теми анархическими инстинктами, которые таятся под поверхностью русской жизни. Поэтому, считали они, солдатам следовало разрешить грабить винные лавки и не слишком сдерживать их в других формах насилия. Но подобные доводы были признаны и нравственно недопустимыми, и неразумными. Апелляция к самым низменным инстинктам толпы не только запятнала бы революционное дело, но и заставила бы большинство нации в ужасе отвернуться от него. Следовало ли мятежникам занять Зимний дворец? И это многим казалось неприемлемым. Любое насилие над императорской семьей непременно разрушило бы фикцию, будто переворот совершается во имя законного государя.

Ни один план революционного восстания никогда не бывает расписан до мельчайших подробностей, и лишь немногие революции в точности следовали заранее составленной схеме. Но у декабристов дело осложнялось не только разногласиями относительно наилучшего способа действия, но и тем, что по мере приближения решающего дня их все сильнее терзали сомнения в самом замысле. То, что прежде они так часто и уверенно планировали, теперь выростало перед ними почти непреодолимой задачей, полной ловушек и опасностей со всех сторон. Не обрушат ли они в действительности волну анархии и народного насилия, которая поглотит и их самих, и правительство? Имеют ли они право precipitate — вызвать — то, что может обернуться гражданской войной и непоправимо повредить величию любимой страны? Насколько значительны и надежны силы, которыми они располагают, и смогут ли офицеры-заговорщики увлечь за собой солдат? В последние дни тревога охватила даже Рылеева, который, по своему положению, должен был бы подавать пример решимости и уверенности. Порой вождь Северного общества дышал оптимизмом: существующая неразбериха такова, что один решительный удар наверняка опрокинет режим, а дальше уже будут предприняты иные шаги по мере надобности. Но в минуты меньшего подъема он признавал почти фантастический характер предприятия. Имея около пятидесяти офицеров, главным образом младших чинов, и горстку штатских, они намеревались сокрушить здание, стоявшее веками. Конечно, было немало и других, готовых примкнуть к революции, как только она одержит первый успех. Но по мере приближения часа действия из рядов революционеров начались отступничества. 9 декабря планы стали известны высшим чиновникам, и через сочувствующих внутри бюрократии декабристы узнали, что Николай будет провозглашен императором в ближайшие дни. Константин теперь уже окончательно, хотя и по-прежнему не публично, отказался от своих прав. Многие члены тайного общества, некоторые из них давние, теперь объявляли о своей неготовности или неспособности участвовать в выступлении против законного царя. Мысль Рылеева лихорадочно искала новых ходов. Может быть, удастся

«спустить» Каховского на Николая, а заговорщики отрестятся от ответственности за убийство. Но Каховский, когда ему осторожно намекнули на это, отказался. Он был готов пожертвовать собой ради дела, но лишь в том случае, если товарищи не станут от него отрекаться.

Накануне судьбоносного предприятия декабристов отличало скорее фаталистическое, нежели уверенное настроение. Они должны идти вперед, говорил в какой-то момент Рылеев, потому что даже если потерпят поражение, их жертва вдохновит будущих борцов за свободу. Заговорщики теперь почти непрерывно заседали в квартире Рылеева (сам поэт, проведя несколько последних дней в тревожных совещаниях с товарищами и в хождении по Петербургу, пытаясь уловить настроение масс, наконец заболел и был вынужден оставаться дома), где молодой князь Александр Одоевский, корнет гвардии, все повторял: «Мы умрем, но умрем славно». Подобные чувства не предвещали успеха восстанию.

И действительно, окончательный план действий, принятый восставшими, как будто был заранее запрограммирован на катастрофу. Они продолжали спорить и медлить почти до самого последнего момента. 13 декабря стало известно, что на следующий день чиновники и армия должны будут присягнуть Николаю. Теперь — или никогда. Казалось бы, следовало действовать в ту же ночь и сделать захват резиденции Николая и его семьи центральным пунктом переворота. Вместо этого было решено начать восстание на следующее утро. Декабристские офицеры должны были объяснить своим солдатам, когда те соберутся в казармах для принесения присяги, что Николай — узурпатор, а затем вывести их в полном боевом порядке на Сенатскую площадь. Заседание Сената было назначено на семь часов утра. Мятежные части должны были занять здание и принудить собравшихся сановников издать манифест революционеров. Некоторые элементы заговора так и остались неясными. Так, невозможно установить, должен ли был манифест быть издан от имени якобы законного императора Константина или Сенат попросту должен был, сочтя Константина отрекшимся, провозгласить новый режим от своего имени. Если последнее, трудно понять, каким образом декабристы рассчитывали сохранить верность солдат, которые вполне могли бы обратиться против своих офицеров за столь откровенный обман. Ни до, ни после восстания никто из его инициаторов, по-видимому, не испытывал угрызений совести по поводу того, что они воспользовались доверием и привычкой к повиновению этих простых людей, тем самым подвергнув их смерти и драконовским карам ради дела, которого те не понимали.

Усугубляя прочие свои ошибки, заговорщики доверили руководство военной операцией, пожалуй, тому человеку в своей среде, который менее всего был для этого пригоден. Князь Сергей Трубецкой уже показал себя человеком, весьма сомневающимся в самом предприятии. Как и показали события четырнадцатого числа, он не верил и, в сущности, не желал успеха революции. Казалось, имелись веские причины назначить его диктатором — таков был его официальный титул: носитель исторического имени, полковник гвардии, а значит, старший по чину среди заговорщиков, Трубецкой был также одним из основателей тайного общества. Но товарищам следовало понять, что при его нерешительном характере, при всей личной храбрости как солдата, он не годился к самостоятельному командованию, тем более к той

задаче, которую на него возложили. Позднее Трубецкой утверждал, что принял поручение потому, что надеялся договориться с правительством и избежать кровопролития — странное чувство для человека, согласившегося возглавить революцию.

Сам рассказ о роковом дне навсегда будет сопровождаться историческими догадками: «Что могло бы случиться, если бы только...» и «Иначе и быть не могло». Что, если бы восставшие выбрали иного человека в качестве вождя? Если бы на их сторону перешло больше солдат? Если бы у них хватило предусмотрительности запасти несколько орудиями? И, наконец, главное: что произошло бы, если бы мятежники, выведя свои войска на площадь, сумели действовать быстро и решительно, вместо того чтобы стоять и ждать, пока что-то случится — а случилось в итоге лишь их крушение?

Сторона довода «иначе и быть не могло» опирается на то, что по самому своему замыслу и исполнению восстание было запрограммировано на неудачу. Его зачинщики были исполнены сомнений и тревоги, почти с самого начала внутренне признавая поражение.

Ранним утром четырнадцатого числа гражданские и военные чины Петербурга собрались в различных местах для принесения присяги новому императору. Это и был момент, когда заговорщики должны были выступить. Их план предусматривал, что посвященные в заговор офицеры призвут солдат не присягать узурпатору, а помнить свою присягу Константину, после чего выведут их из казарм, будто бы для защиты прав законного государя. Декабристы надеялись таким образом склонить на свою сторону по меньшей мере шесть полков, а затем предполагали, что остальные части откажутся стрелять в своих товарищей по службе. Все зависело от инициативы, убедительности и популярности среди нижних чинов сравнительно небольшой группы, по большей части младших офицеров. С самого начала дела пошли наперекосяк. В большинстве полков верные правительству офицеры сумели убедить солдат, что Константин в самом деле отказался от трона. В итоге заговорщики сумели увлечь за собой лишь части трех подразделений — Московского, Гренадерского и Морского гвардейских полков, то есть около трех тысяч человек вместо ожидавшихся двадцати тысяч. Но еще более губительным для шансов революции, чем численная слабость восставших, стала нерешительность их руководителей и их неспособность либо придерживаться плана, либо импровизировать, прибегая к новым смелым мерам.

Существенной частью плана было захватить Сенат в то время, когда он заседает, и принудить его членов обнародовать революционный манифест, который формально установил бы новый режим. Заговорщики знали, что заседание Сената назначено на семь часов утра. Но было уже половина одиннадцатого, когда первая из мятежных частей — Московский гвардейский полк, с развернутыми знаменами и под бой барабанов — вступила на площадь. Сенаторы, уже присягнувшие Николаю, давно разошлись. Обнаружив площадь пустой, полк выстроился в боевой порядок и остался стоять на пронизывающем декабрьском морозе, время от времени выкрикивая «ура» Константину. (Есть, возможно апокрифический, рассказ, что солдаты кричали: «Да здравствует Константин и жена его Конституция!») В течение следующих двух часов к ним в таком же положении присоединились другие мятежные отряды. Революция стояла и ждала.

К тому же она была без головы. Трубецкой, в последнюю минуту охваченный паникой, не смог заставить себя присоединиться к людям, которых должен был вести. Вместо этого, побродив несколько часов по улицам столицы, он укрылся в доме своего шурина, австрийского посла. Столь же примечательно отсутствовал на площади и человек, которого декабристы назначили вторым лицом после диктатора, — Александр Булатов. Рылеев как штатский не мог участвовать в военных действиях. Изнуренный напряжением последних дней, он провел утро, пытаясь заставить офицеров-товарищей перейти к действию, а затем вернулся домой — ждать горького конца. По умолчанию командование должно было перейти к начальнику штаба восстания князю Евгению Оболенскому, но он был всего лишь поручиком и не мог пользоваться большим авторитетом у солдат.

Еще более пагубным для успеха революции, чем неудача с захватом Сената, оказался провал с занятием Зимнего дворца, где утром собрались Николай и высшие сановники. Решение занять императорскую резиденцию было окончательно принято декабристами накануне вечером, но и здесь они, кажется, составили план так, чтобы гарантировать его провал. Предполагалось, что дворец займет Морская гвардия под командой Якубовича — выбор странный, учитывая его хорошо известную ненадежность и то обстоятельство, что, будучи армейским офицером, он был чужим человеком для тех матросов, которых ему предстояло вести в столь деликатной операции. Как и следовало ожидать, Якубович, совершенно не думая о своей ответственности, присоединился к Московскому гвардейскому полку, тогда как Морская гвардия, которой он должен был командовать, миновала дворец и встала вместе с прочими мятежниками на Сенатской площади.

Если среди революционных руководителей царили растерянность и паника, то на стороне правительства картина была несколько иной. Конечно, многих высоких чиновников и генералов тоже охватил паралич воли, когда ход событий показал, до какой степени они пренебрегли предосторожностями и не сумели предупредить мятеж. Но в конечном счете все зависело от нового царя, и он головы не потерял. Николай уже некоторое время знал, что при его восшествии на престол могут возникнуть беспорядки. Человек суровой выправки и раздражительного характера, он понимал, что не пользуется любовью в гвардии, где как великий князь давно служил офицером, а в последнее время даже командовал дивизией. Всего за два дня до этого его уведомили, что восстание готовится. Молодой офицер Яков Ростовцев, которому друзья-декабристы рассказали о планах тайного общества, счел своим долгом открыть это будущему императору, оговорив, однако, что как человек чести не может назвать ни одного имени. Николай, уважив щепетильность доносчика и потому не имея возможности заранее арестовать заговорщиков, все же получил бесценное преимущество: он оказался подготовлен к драматическим событиям, с которых должно было начаться его царствование.

Теперь он действовал с заметной решимостью. Позабывшись о защите Зимнего дворца и своей семьи, царь лично принял командование верными войсками. Постепенно они окружили Сенатскую площадь, закрыв мятежникам доступ к дальнейшим подкреплениям. Правительственная сторона обладала явным численным преимуществом: около двенадцати тысяч солдат против трех тысяч восставших; к тому же, в отличие от мятежников, у них были

артиллерия и кавалерия. Но положение все еще оставалось взрывоопасным. Николай не решался отдать приказ о нападении на противников, и потому две почти неподвижные массы войск несколько часов стояли друг против друга. Царь не хотел начинать свое царствование кровопролитием; возможно, еще важнее был страх, что верность его войск поколеблется, если им будет приказано атаковать и убивать своих товарищей. К мятежникам посылали нескольких эмиссаров с призывом сложить оружие. Один из них, петербургский генерал-губернатор Милорадович, хорошо известный и любимый солдатами, начал было убеждать их в бессмысленности их предприятия и в том, что он, как личный друг великого князя Константина, может поручиться: тот действительно отказался от короны в пользу брата. Но его речь была прервана пулей из пистолета Каховского, и Милорадович смертельно раненным упал. Раздались и другие выстрелы, были несколько потерь среди правительственных войск. И все же поразительно, что, несмотря на все прежние разговоры о цареубийстве и при том, что император, сидя на коне, представлял собой ясную цель, никто не попытался лишить его жизни.

Не менее поразительной была выносливость русских солдат. С обеих сторон они стояли, не сходя с места, около пяти часов — в полном строю и в мороз. Но декабристы, покинутые своими вождями, убедившись в ложности большинства расчетов, продолжали держаться в этой самоубийственной позе. В известном смысле последний акт заговора оказался воплощением всей его истории. Декабристы мечтали, молились и трудились ради новой России. Но они так и не смогли до конца поверить, что имеют право сами взять в руки судьбу своей страны и поразить человека, который, будучи деспотом, все же по самому своему положению олицетворял Россию и ее величие. Патриотизм толкал их к революции, патриотизм же мешал довести ее до конца.

Было уже три часа пополудни, начинало темнеть. Офицеры в окружении Николая решили, что ждать больше нельзя. С наступлением ночи могли начаться переходы на сторону мятежников, а среди самих восставших — резкий всплеск активности. Толпа, состоявшая из столичной бедноты, заполнившая площадь ради зрелища и вместе с мятежниками отрезанная кольцом верных войск, становилась все беспокойнее; в солдат императора летели камни и кирпичи. Царь должен решиться, заявил ему один генерал: либо разогнать мятежников, либо отречься. Пусть артиллерия прочешет площадь. Дважды Николай отдавал приказ: «Начать огонь», и дважды отменял его. В третий раз приказ остался в силе. Несколько залпов картечью по сомкнутым рядам мятежников хватило, чтобы прежде дисциплинированная фаланга превратилась в охваченный паникой бегущий сброд. Попытки сопротивления не было. Восстание было подавлено.

То же странное фаталистическое настроение, которое мешало декабристам пробивать себе путь к победе, не позволило им теперь и попытаться избежать ареста и тюрьмы. В некоторых случаях они сами сдавались властям. Смелый и осторожный в стремлении пощадить кровь подданных во время противостояния на площади, император, добившись победы, явил иную сторону своего характера. Когда главных участников мятежа одного за другим приводили к нему на допрос, всероссийский самодержец превращался в инквизитора. С одними он пытался

действовать увещеваниями и лаской: им нечего бояться, если они искренне раскаются и расскажут все, что знают о заговоре. На других он обрушивал угрозы и оскорбления; прежде сдерживаемый страх теперь находил выход в ярости и грубом запугивании. После допросов узников отправляли в мрачные камеры Петропавловской крепости. Царь лично определял режим содержания каждого: с одними следовало обращаться мягче, других держать в строгой изоляции и в кандалах.

В ту же ночь основные факты о заговоре стали известны властям. Совершенно сломленный духом, моля царя о жизни, несчастный диктатор Трубецкой дал большую часть сведений, необходимых для раскрытия истории тайных обществ, имен их главных членов и других подробностей. Императорские адъютанты тотчас же помчались во все стороны европейской России и Польши с приказами арестовывать и под конвоем доставлять всякого, кто в какой бы то ни было степени был связан с декабристским движением с самого момента его возникновения.

На юге аресты начались даже раньше: Пестеля взяли уже тринадцатого. Но перед тем как исчезнуть, Южное общество успело подать еще один последний отчаянный знак жизни.

Интересно поразмышлять, что могло бы произойти в Петербурге, окажись Сергей Муравьев-Апостол среди руководителей восстания, а не привязанный к своим полковым обязанностям на Украине. Получив известие и об аресте Пестеля, и о катастрофе в столице (последнее дошло до южных декабристов двадцать третьего числа), Муравьев сначала подумывал о самоубийстве, но затем решил действовать. Помещенные под домашний арест по распоряжению из Петербурга, Сергей и его брат Матвей вскоре обрели свободу с помощью товарищей из Общества соединенных славян. Последние имели нескольких членов среди офицеров Черниговского полка, где сам Муравьев был вторым по старшинству командиром и пользовался большой любовью у солдат. Поэтому ему не составило труда увлечь около восьмисот человек в свое самоубийственное предприятие.

Поначалу доводы Муравьева были теми же, что у петербургских мятежников: солдатам говорили, что Константин — законный император, а Николай — узурпатор.⁵³ Им также обещали сокращение срока службы. Кроме того, Муравьев составил краткий катехизис, который полковой священник должен был зачитать солдатам; в нем разъяснялось, что самодержавная власть несовместима с христианством и что царь, присваивая ее себе, действует против учения Иисуса Христа, проповедовавшего свободу и равенство. Воодушевленные этим наставлением и укрепленные дополнительной выдачей водки, мятежные части полка двинулись в направлении Киева. Отчаянная надежда Муравьева состояла в том, что другие офицеры-декабристы, еще остававшиеся на свободе и, по видимому, уже мало что имеющие терять, последуют его примеру, и его отряд разрастется до такой степени, что удастся занять Киев и поставить правительство перед призраком гражданской войны. Но было уже поздно. Его прежние товарищи по заговору были охвачены страхом, и подкрепления не приходили. Напротив, из рядов мятежников дезертировали

⁵³ Материалы, IV, с. 407.

несколько офицеров и солдат. Блуждая почти без всякой цели по сельской местности, повстанческая колонна 3 января столкнулась с намного превосходящими правительственными силами, располагавшими и кавалерией, и артиллерией. Как и 14 декабря, это не было настоящим боем. Мятежников рассеял артиллерийский огонь. Большинство из них было взято прямо на месте, среди них и тяжело раненный Сергей Муравьев. На стороне верных правительству войск потерь не было. Вся черниговская история заняла четыре дня.

Так то, что начиналось как революция, свелось к тому, что можно назвать вооруженной демонстрацией на севере, за которой последовал столь же безнадежный мятеж на юге. И все же, несмотря на свою эфемерность, усилие декабристов высветило вопиющую слабость режима. Восставшие вышли из самой среды правящего класса. Если бы каким-то чудом первая попытка заговорщиков удалась, вполне возможно, что значительная часть этого класса, а также и бюрократии, встала бы на их сторону. После этого царское правительство уже никогда не могло рассчитывать на безусловную преданность своих подданных. Чтобы обеспечить себе повиновение, ему пришлось бы создать сложную машину репрессий, а это, в свою очередь, лишь усилило бы отчуждение общества и подготовило почву для почти непрерывной борьбы между реакцией и революцией, которая станет главной чертой русской истории вплоть до 1917 года.

Тем офицерам, которые в критический момент встали на его сторону, император выказал большую щедрость, осыпав их орденами, повышениями и почестями. Двадцать старших по чину верных офицеров были произведены в генерал-адъютанты — положение, которое обеспечивало его обладателю личный доступ к монарху и практически гарантировало блестящую военную и гражданскую карьеру. Среди младших офицеров сорок были назначены флигель-адъютантами — это был менее высокий, но все же важный шаг на лестнице почестей и предпочтений. Более прозаическими были награды нижним чинам: унтер-офицерам выдавались деньги, а каждому рядовому, которому 14 декабря посчастливилось оказаться на «правильной» стороне, вручали всего лишь по два рубля, два стакана водки и два фунта рыбы.⁵⁴

Для побеждённых милосердия почти не предполагалось. С чисто юридической точки зрения декабристы были виновны в государственной измене, и потому те из них, кто состоял на действительной службе в офицерских чинах, должны были бы предстать перед военными судами и, по всей вероятности, быть поставлены к расстрельной команде. Но, с другой стороны, в окружении Николая раздавались голоса, призывавшие к мягкости. Утверждали, что было бы политически благоразумно, если бы император начал своё царствование в духе великодушия и прощения. Всё это дело, в конце концов, окончилось неудачей — не в меньшей мере из-за нравственных колебаний заговорщиков, чем из-за их неумелости. Большинство из них были молодыми людьми, некоторые происходили из знатнейших семей России. Однако Николай предпочёл применить всю суровость закона, не проявив ни милосердия, ни всепрощения. В известном смысле наказания, которые он в итоге наложил на этих несчастных

⁵⁴ Г. С. Габаев, «Гвардия в декабрьские дни 1825 года» в кн.: А. Е. Пресняков, Четырнадцатое декабря 1825 года (Москва, 1926), с. 197.

людей, должны были оказаться для будущего России более позорными и более роковыми, чем была бы массовая казнь. Немногих покарают смертью, но гораздо большее число, включая и тех, чья связь с самим восстанием была весьма слабой или вовсе отсутствовала, будет опозорено и сослано на вечное поселение; их бесчестие и страдания в далёкой Сибири должны были служить предостережением всякому, кто вздумал бы последовать их примеру, восстать против законной власти и предаться «безумной жажде новизны», как суд охарактеризует один из главных источников изменнических замыслов декабристов. На деле именно решение Николая, продиктованное потрясением, пережитым им в день восстания, заставило судей изобресть такую форму наказания, которая и обеспечила декабристам место в истории и в революционной легенде. Память о том, насколько дилетантским был их мятеж и насколько недостойно многие из них вели себя после поражения, со временем померкла, и будущие поколения главным образом запомнили их самопожертвование и мученичество.

Насколько глубоко заблуждался Николай I, полагая, будто он сможет определить суд потомства над декабристами, ярко видно из слов его официального биографа:

Но каково бы ни было мнение о движении, представленном декабристами, как бы ни рассматривать его — как ошибку или как плод заблуждений, — нельзя отказать им в одной общей черте. Эта черта заключалась в их готовности к самопожертвованию в самом широком смысле слова. Здесь [были люди]... которые уже имели или стояли на пороге блестящей карьеры... люди, которые в исполнении своих служебных обязанностей поступали по убеждению, были исполнены человечности и справедливости и по праву пользовались доверием как своих подчинённых, так и тех, кто от них зависел... Самопожертвование руководителей [декабристов] тем более поразительно, что едва ли кто-нибудь из них рассчитывал на успех; напротив, все они были готовы умереть за свои убеждения.⁵⁵

Этот отрывок, вышедший из-под пера консервативного писателя и опубликованный ещё в ту пору, когда Россия оставалась самодержавной, говорит сам за себя.

17 декабря 1825 года состоялось первое заседание «Тайного комитета, учреждённого Его Величеством для исследования членов злоумышленного общества». Эта следственная комиссия, носившая столь тяжеловесное название, состояла из различных высших сановников, некоторые из которых были личными друзьями императора. Ни следствие, ни последующий так называемый суд не имели ни малейшего сходства с тем, что даже по тогдашним русским меркам можно было бы назвать судебной процедурой. Весь дух этих действий был выражен уже в императорском указе об учреждении особого верховного суда для суда над декабристами: «Назначение суда — вынести приговор государственным преступникам», — поразительная предусмотрительность, если вспомнить, что все 121 обвиняемый были признаны виновными.

К счастью для легенды декабристов, полные тексты их показаний перед следственной комиссией не стали известны вплоть до революции 1917 года, когда были открыты архивы имперского правительства. Подавляющее большинство мятежников поспешили выразить раскаяние, сообщили властям все подробности своей заговорщической деятельности и

⁵⁵ Шильдер, с. 435.

деятельности своих товарищей и умоляли о милости, зачастую в самой жалкой форме. Полковник Василий Тизенгаузен писал Николаю:

«Позвольте Вашему несчастнейшему верноподданному, о Всемилостивейший Государь, принести Вам глубокую благодарность за великодушие, с каким Вы позволили мне писать к Вам; снизойдите выслушать кающегося грешника. Я не смею оправдывать своё поведение, которое привело меня к преступлению единственно по моей малодушной слабости... но клянусь, что никогда не намеревался нарушить закон. Государь, будьте милостивы и великодушны... Вы не найдёте среди Ваших верноподданных более преданного слуги, чем я».⁵⁶

Пестель, который до ареста говорил одному из своих товарищей, что скорее даст разорвать себя на части, нежели признается или выдаст властям хоть какие-либо сведения, очень скоро уже рассказывал им всё. 3 декабря бывший вождь заговора, теперь совершенно сломленный, написал жалостное письмо одному из своих допросчиков: «Вы не можете себе представить, как ужасна тревога, испытываемая в заключении и в неизвестности о своей участи. Его Величество повелел мне сказать всё, и я это сделал — вполне, ничего не скрывая». Он плакал, думая о своих престарелых родителях и о том, как они должны страдать. Пусть государь ради них простит его: «Я навсегда останусь благодарным и преданным Его Священной Особе и Его Августейшему Дому. Я понимаю, что мне нельзя оставаться в армии, но позвольте мне хотя бы быть свободным... Быть может, Бог в бесконечной милости Своей склонит сердце Императора в мою пользу».⁵⁷

Советские историки по большей части объясняли поведение заключённых декабристов их классовым происхождением: «Хрупкий революционный дух этих мятежников из дворян ломался легко под натиском полной победы самодержавия, краха их собственного движения и планов и массовых арестов».⁵⁸ Но это сильнейшее упрощение. В последующие годы среди русских революционеров будет немало выходцев из дворянства, включая Владимира Ульянова-Ленина, и их поведение на допросах или перед лицом виселицы в большинстве случаев будет совсем иным. Декабристы были первыми. Как стойкость солдата под огнём противника, так и выносливость революционера — в борьбе или в поражении — зависят не столько от врождённой храбрости, и тем более не от классового происхождения, сколько от выучки и опыта. И точно так же, как эти мятежники были не готовы совершить революцию, ничто в их прошлом не научило их переносить последствия её неудачи. Многие из них, как и некоторые действительно сделали, не поколебались бы отдать жизнь за дело, но они не умели справляться с одиночеством тюремной камеры, со страданиями и упрёками своих родных, с попеременными уговорами и угрозами, которыми их подвергали царь и его следователи.

Не столько хрупкость их революционного духа, сколько глубинная двойственность их отношения к России вела многих к самообвинениям, покаянию и преклонению перед человеком, которого они стремились низложить. Теперь, когда их дело потерпело поражение, Николай вновь возвышался как законный правитель, вершитель судеб России, и как таковой

⁵⁶ Материалы, II (1954), с. 250.

⁵⁷ Материалы, IV, с. 125.

⁵⁸ Нечкина, II, с. 397

должен был вызывать благоговение. Из своей тюремной камеры Пётр Каховский, пожалуй, самый бурный из декабристов, засыпал императора письмами, умоляя его стать реформатором: «Государь, я не враг Вам... Я страстно люблю мою родину. Её счастье связано с Вашей судьбой... От Вас зависят судьбы пятидесяти миллионов людей».⁵⁹ Приведённый в присутствие императора, Каховский был совершенно покорён человеком, которого прежде предлагал убить, когда услышал от Николая: «Я тоже русский». Этого было достаточно, чтобы привести узника в иступлённый восторг. Он писал потом императору, что умрёт счастливым, услышав из собственных уст государя его любовь к России. Менее неуравновешенным, но столь же покаянным был тон другого несостоявшегося убийцы, теперь уже заключённого, — Якубовича, который также адресовал своему царственному тюремщику письмо с предложением разных реформ и с уверением, что если государь их примет, то «недовольные... исчезнут, как туман перед солнцем, и Вы будете спасителем отечества... а любовь пятидесяти двух миллионов Ваших подданных станет предвестием Вашей бессмертной славы».⁶⁰

Разумеется, были и такие, кто отказался присоединиться к этому общему тону раскаяния и раболепия. Один из стандартных вопросов, задававшихся обвиняемым, звучал так: «С каких пор и от кого вы восприняли либеральные идеи? От знакомых ли ваших, или от чтения книг, и если так, то каких именно? И кто ответствен за ваше окончательное обращение к ним?» На это Михаил Лунин с гордостью отвечал, что верил в свободу с той минуты, как начал мыслить самостоятельно, и ничто иное, кроме велений собственного разума, не привело его к убеждённому либерализму».⁶¹ О Петре Борисове, одном из основателей Общества соединённых славян, его следователь записал: «...Он заявил, что, принеся себя в жертву отечеству, радостно ожидает всего, что бы ни было ему предназначено».⁶²

Но это лишь отдельные голоса в общем хоре взаимных упрёков, самообвинений и просьб о помиловании, исходивших от заключённых декабристов. Многие особенно винили Рылеева за то, что он совратил их с пути долга. Царь проявил себя талантливym инквизитором. Некоторые, кто поначалу держался вызывающе, по его приказу оставались закованными в цепи, пока не начинали говорить с «сердечною откровенностью», как гласила официальная формула, — и в конце концов неизменно начинали. С другими он вёл более тонкую игру: как они, его старые товарищи по гвардии, могли спутаться с людьми, желавшими истребить весь императорский дом? Они ещё могли искупить свою вину, если расскажут всё. Он облегчал материальную нужду жены Рылеева, оказавшейся без всяких средств к существованию, и когда поэт узнал об этом, он написал своей жене, прося её молиться за императорский дом. Так обвиняемые выдавали властям не только своих соучастников, но порой и таких людей, как Лунин, который уже много лет не имел никакого отношения к тайному обществу.

Главной заботой императора и его агентов было раскрыть весь масштаб и предысторию заговора. Заключённых бесконечно расспрашивали об их знании не только собственного

⁵⁹ Бороздин, с. 22.

⁶⁰ Бороздин, с. 81.

⁶¹ Материалы, III, с. 124, 128.

⁶² Материалы, V, с. 100.

общества, но и любых других тайных обществ и оппозиционных кружков в России и Польше. Темой, которая будет отдаваться эхом в подобных процессах вплоть до наших дней, было любопытство властей относительно возможных связей декабристов с революционными движениями за границей и официальное недоверие к мысли, что русские могли восстать против своего правительства сами по себе, без какого-либо внешнего подстрекательства. А может быть, за заговором стояла какая-нибудь иностранная держава, особенно Великобритания? Вера в то, что «коварный Альбион», завидуя её величию, стремится вызвать в России беспорядки, доживёт и до советской эпохи, когда на московских показательных процессах 1930-х годов обвиняемых заставят признаться в связях с британской разведкой.

Столь же настойчиво следователи старались найти каких-либо высокопоставленных чиновников, которые могли знать о мятежных планах или сочувствовать им. Но и здесь обвиняемые не могли сообщить ничего конкретного, что оправдало бы подозрения императора. Правда, между собой они обсуждали таких людей, как Сперанский, Мордвинов и главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов, как возможных кандидатов во временное правительство после переворота, но никаких сведений, связывающих их с заговором, не дали.

Инквизиторская тактика императора понятна, если принять во внимание его не лишённое оснований подозрение, что, увенчавшись восстанием успехом, значительная часть русской элиты приветствовала бы его и, быть может, тысячи две или три знали о целях тайного общества и сочувствовали им. Если бы он хотел искоренить инакомыслие, сказал ему один из заключённых декабристов, ему пришлось бы уничтожить всё поколение, выросшее при его брате. Но на это Николай не хотел и не мог пойти: править путём массового террора было не во власти самодержавия XIX века. Сперанскому и Мордвинову было позволено сохранить свои высокие посты. Ермолова вскоре сняли с его должности, но иначе не наказали. Из примерно пятисот арестованных многие, стоявшие на периферии заговора или вовремя от него отошедшие и сумевшие убедить власти в своём «сердечном раскаянии», были освобождены; некоторые из них, как, например, Михаил Муравьёв, впоследствии достигнут высоких постов в военной и гражданской иерархии. Революционный дух в русском обществе не был изгнан катастрофой 14 декабря, но на весь остаток царствования Николая он будет сдерживаться другой социальной чертой — раболепием перед существующей властью. До непристойности странно, что уже на следующий день после казни брата Владимиру Пестелю могли предложить — и он мог принять — должность флигель-адъютанта при императоре.

Режим проявил большое усердие в стремлении отыскать интеллектуальные истоки мятежа. Анкета, которую должны были заполнить все заключённые декабристы, содержала несколько вопросов, касавшихся их воспитания и образования. Откуда происходили «злоумышленные» идеи, вдохновлявшие их мятежные действия? Какие книги, учителя или жизненные впечатления впервые посеяли в их умах семена измены? Были ли они практикующими христианами? (Довольно многие были.) Сам допрос отражал искреннее недоумение допрашивающих: неужели русский дворянин и офицер мог сам по себе прийти к нелепой мысли предать своего государя или к убеждению, что его страна нуждается в конституционном правлении или пригодна для него? Если они не были соблазнены какой-

нибудь иностранной державой или революционерами, значит, они впали в своё роковое заблуждение под воздействием вредоносных иностранных идей. Но впечатление, ясно проступающее из ответов, состоит в том, что главным источником декабристского замысла были не французские или английские мыслители, а ужасающая реальность русской жизни.

Самый нравственно сомнительный аспект восстания почти не затрагивался следствием. Ни в один момент декабристов не спросили, как они могут оправдать грубый обман, к которому прибегли, поднимая своих солдат на мятеж. Да и никто из главных участников драмы тогда или позже не счёл нужным выразить раскаяние по поводу этой мистификации. Между тем обманутые, простодушные люди дорого заплатили за доверие к своим офицерам. Возможно, около двухсот было убито 14 декабря и 3 января. Другие, хотя и были лишь орудиями в борьбе и в большинстве своём совершенно не понимали её подлинной цели, подверглись бесчеловечным карам. Плеть, в некоторых случаях — двенадцать тысяч ударов (поразительно, что некоторые выжили), пожизненная ссылка и каторжные работы в Сибири стали уделом тех, кого признали особенно деятельными участниками событий. Практически все солдаты, последовавшие за своими декабристскими офицерами, были выведены из своих полков и переведены в части на Кавказе, где их должны были косить болезни и пули горцев.

Императорским указом от 1 июня 1826 года, учреждавшим особый Верховный уголовный суд для так называемого суда над мятежниками, в него были назначены семьдесят два судьи из числа сановников империи, в том числе, в качестве испытания их верности, Сперанский и Мордвинов. Единственная функция суда состояла в том, чтобы определить степень вины и установить меру наказания для всех 121 декабриста, чьи дела были переданы ему следственной комиссией. И всё же слово «определить» здесь слишком сильно, поскольку в действительности судьёй был Николай, а суд лишь выражал его волю в юридических формулах. Поэтому неудивительно, что дело, которое, казалось бы, было чрезвычайно сложным и касалось столь многих лиц, было решено всего за пять недель; быстроте разбирательства способствовало полное отсутствие и обвиняемых, и какой-либо защиты. Жестокая обязанность Сперанского состояла в том, чтобы облечь в слова приговор, определявший гибель людей, многие из которых были его близкими друзьями. Лишь один судья оказался достоин этого имени: адмирал Мордвинов высказался против смертной казни для пятерых обвиняемых, справедливо указав, что действующий закон запрещает смертную казнь. Но Николай уже давно решил, что пятеро, которых он считал главными виновниками, должны умереть, тогда как остальные, какова бы ни была степень их вины или юридические тонкости их приговоров, должны быть сосланы навеки в Сибирь либо рядовыми на Кавказский фронт и, по меньшей мере при его жизни, никогда не получить разрешения вернуться в Европейскую Россию. Так оно и случилось.

Но церемония во дворе Петропавловской крепости 13 июля 1826 года и пять повешений не означали конца истории декабристов. Они открывали её важнейшую фазу. Те самые люди, которые проявили неумение в заговоре и жалкое бессилие в поражении, теперь, благодаря мужеству перед лицом несчастья и достоинству, с каким они переносили страдания, искупили свои грехи как действия, так и бездействия. Были, конечно, обычные для ссыльных ссоры,

некоторые пали духом и нравственно опустились, но для большинства декабристов их сибирская ссылка стала временем духовного и интеллектуального роста и размышления. Выйдя из тюрьмы и получив разрешение стать поселенцами, многие из них занялись скромной, но существенной социальной и просветительской деятельностью, став пионерами культуры в этом прежде диком крае. Его население вскоре стало видеть в них уже не политических преступников, а представителей всего лучшего и наиболее человеческого, что было в русской жизни.

Лишая декабристов титулов и имений и запрещая их жёнам и детям следовать за ними, если только они сами не выбирали вечное изгнание, режим надеялся изгнать инакомыслие из общества и дать урок образованному классу. Но на деле на протяжении всех тридцати лет реакции, которыми было царствование Николая, рдеющая горстка ссыльных в далёкой Сибири продолжала тяжело давить на совесть нации, служа постоянным напоминанием для тех, кто оставался дома, что Россия могла бы быть иной. Если деятельность декабристов до 1825 года нередко напоминала «безумные подростковые игры», то воздействие той легенды, в которую они превратились, не менее хорошо выражено в поэтическом послании Пушкина к ним:

Ваш скорбный труд и дум высокое стремленье
Не пропадут...
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа.⁶³

Александр Одоевский, тот самый Одоевский, который накануне восстания говорил о том, что надо умереть славно, и который во время следствия совершенно пал духом, написав Николаю, что хочет пасть к стопам своего Всемиловитвейшего Государя, ответил Пушкину собственным стихотворением:

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеёмся над царями.
Наш скорбный труд не пропадёт:
Из искры возгорится пламя,
И просвещённый наш народ
Сберётся под святое знамя.⁶⁴

⁶³ Пушкин, Сочинения, III (1949), с. 7.

⁶⁴ Стихотворения и письма (Москва, 1934), с. 1111.

В 1900 году группа русских марксистов, в которую входил и Ленин, выбрала «Искру» названием своего революционного журнала, оправдывая его девизом: «Из искры возгорится пламя».

И всё же, если декабристы и зажгли эту искру, они до конца сохранили в себе одну черту, которая вновь проявится и у тех, кто пойдёт следом за ними по революционному пути, и которая станет одной из причин того, что, когда великое пламя разгорится, оно не принесёт русскому народу свободы. Эта черта ярко иллюстрируется историей Сергея Волконского. За участие в Южном обществе Волконский, князь и генерал-майор, был лишён титулов и имений и сослан пожизненно в Сибирь. Его жена, одна из того героического круга женщин, что предпочли разделить изгнание своих мужей-декабристов, могла сделать это лишь ценой того, что и сама уже никогда не вернётся в Европейскую Россию. Ей пришлось оставить их грудного сына, вскоре умершего. Но когда уже престарелый Волконский услышал в 1855 году о смерти Николая I, он разрыдался горькими слезами. Его внук и биограф объяснил это странное поведение. Нет, это были не слёзы радости и не слёзы о собственной сломанной жизни. Князь плакал по Николаю, потому что боялся, что станет с Россией, оставшейся без его железной руки. Он, как и многие люди его поколения и последующих поколений, видел во внешней мощи и внутреннем порядке признак национальной силы.

И когда же наше национальное сознание освободится от этого рокового смешения [между властью и народным благом], которое внесло столько лжи во все сферы национальной жизни, лжи, окрасившей нашу политику, нашу религиозную и общественную мысль, наше образование. Ложь была главным недугом русской политики вместе с её обычными спутниками — лицемерием и цинизмом. Они проходят через всю нашу историю. Но ведь цель жизни состоит не просто в том, чтобы существовать, а в том, чтобы существовать достойно. И если мы хотим быть честны перед самими собой, то должны признать: если Россия не может существовать иначе, чем она существовала в прошлом, значит, она не заслуживает того, чтобы выжить. А доньше у нас не было доказательства того, что страной можно управлять иначе.⁶⁵

Горькие слова, столь же актуальные теперь, как и в то время, когда они были написаны.

⁶⁵ Сергей Волконский, Декабристы — семейные воспоминания (Санкт-Петербург, 1922), с. 96.

Глава 2.

НЕСОВЕРШЕННАЯ СВОБОДА: 60-ые и 70-ые годы XIX столетия

Для будущих поколений тридцать лет царствования Николая I — 1825–1855 годы — должны были предстать временем беспросветного угнетения и национального унижения. Россия, отсталая уже в начале его правления, к его концу оказалась ещё дальше позади Европы — в отношении своего общественного, политического и экономического состояния.

[В русском политическом языке XIX века слово «Европа» имело особое значение: под ним понимались ведущие страны Запада, а не, например, тогдашние Испания или Италия. Это авторская сноска из оригинала.]

Правительство было не только тираническим, но и нелепым в самом способе, каким оно подавляло всё, что хотя бы отдалённо напоминало интеллектуальное, не говоря уже о политическом, инакомыслие, и пыталось изолировать страну от всего, что могло хоть в какой-то мере угрожать самодержавному status quo. Такая система, как почти единодушно заключают историки, могла держаться лишь на самой тщательной репрессии; лучшим доказательством служит то, что со смертью императора и с уходом того способа управления, который он создал и воплощал собой, Россия вступила в период общественной тревоги и революционного брожения, завершившийся революцией 1917 года.

Именно эта последовательность в ремесле деспота в значительной мере объясняет успех Николая в том, что он уберёг свою страну от ветров перемен, которые в те годы дули по всему континенту, а в 1848–1849 годах, превратившись в бурю, низвергли или преобразили практически все прочие европейские правительства. Россия, напротив, оставалась оазисом политического спокойствия и реакции. В отличие от своего предшественника, император применял репрессии последовательно и систематически. В 1826 году он создал первую современную политическую полицию — прообраз подобных учреждений, которые с тех пор неизменно расцветали на русской почве, вплоть до советского КГБ. Как и они, это Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии не ограничивалось борьбой с подрывной деятельностью, но обладало широкими функциями, фактически выступая стражем нравов и культуры и инструментом выявления и подавления неконформизма и нелояльности во всех сферах общественной жизни.

Интеллектуальное сообщество — тогда, как и позднее, предмет особой заботы правителей — было строго стеснено. Насколько повсеместными, доходившими до абсурда были попытки заглушить это сообщество, хорошо показывает реакция одного высокого чиновника на совершенно безобидный литературный очерк, прошедший цензуру: «Стоит лишь проявить некоторое внимание, чтобы увидеть, что автор, притворяясь, будто рассуждает о литературе, на самом деле внушает нечто совсем иное: под словом просвещение он подразумевает свободу, деятельность ума следует читать как революцию, а искусно выстроенная золотая

середина есть не что иное, как *конституция*»¹. Автор, в действительности твёрдо веривший в самодержавие, был лишён права публиковать книги и статьи; этот запрет сохранялся одиннадцать лет. Журнал, напечатавший статью, был закрыт, а нерадивый цензор уволен со службы.

Хотя знаменитое сочинение Петра Чаадаева, критически оценивавшее прошлое и культуру России, не содержало политических намёков, по личному распоряжению царя он был объявлен душевнобольным и помещён под домашний надзор. Кружок Петрашевского — группа молодых интеллектуалов, собиравшихся для обсуждения политических идей, бывших тогда на Западе *au courant*, например социализма, но так и не перешедших к каким-либо действиям, — после доноса в полицию в 1849 году был подвергнут такому обращению, словно представлял собой заговор, подобный декабристскому. Несколько его участников, включая Достоевского, были приговорены к смерти, фактически выведены на казнь, и лишь затем им сообщили, что приговор — как было заранее решено — заменён ссылкой и каторжными работами.

И всё же представление о николаевском режиме как о системе, державшейся исключительно на силе, несомненно, упрощено. Николай I мог править так, как он правил, в значительной мере потому, что большую часть своего царствования успешно апеллировал к русскому национальному чувству и, в отличие от Александра с его космополитическими манерами, соответствовал народному образу русского царя. То, что будущие поколения сочтут величайшим пятном на царствовании Николая — жестокое обращение с побеждёнными декабристами, — скорее поражало, чем отталкивало большинство его современников. Предвзвешенности императора нередко совпадали с предвзвешенностями его подданных. Александра широко критиковали за благоволение к полякам; Николай же, подавив польское восстание 1830–1831 годов, лишил «неблагодарную» нацию автономии и представительных учреждений, которые, ввиду отсутствия таковых в самой империи, воспринимались как постоянное оскорбление русской национальной гордости.

Образованный русский знал, что для либерального западного человека его страна была синонимом политической тирании и раблепия; однако сознательно или нет он находил утешение в том, что Россия была величайшей военной державой Европы и как таковая внушала всеобщий страх. В течение царствования империя расширяла свои границы, и эти внешние проявления силы и величия России вновь стремились возместить многим подданным Николая то раздражающее чувство неполноценности, которое невольно охватывало их всякий раз, когда они обращали взор на Запад.

Это отождествление самодержавия с национальной традицией и национальным интересом основывалось также на двух предположениях, которые по мере течения царствования всё более ясно обнаруживали свою ошибочность. Первой исчезла надежда, что Николай станет самодержцем в духе Петра Великого — коронованным революционером, который своей деспотической властью будет способен втолкнуть Россию в XIX век, модернизировать и

¹ Цит. по: Н. Д. Бродский, ред., *Ранние славянофилы* (Москва, 1910), с. 19.

цивилизовать её отсталое общество. Даже некоторые из заключённых декабристов, как видно из их показаний и писем, поддались иллюзии, будто этот ограниченный и плохо образованный молодой человек станет реформатором. Уже первые годы показали, что Николай им не был.

Его природно консервативные склонности были усилены травмой восстания, открывшего его царствование; убеждением, что его старший брат сам способствовал этому своим безответственным разговорами о реформах; и мыслью, что реформы в российских условиях неизбежно порождают новые надежды и требования, в конечном счёте несовместимые с институтом монархии и общественным порядком. Царь не был лишён ума и, в собственном понимании, заботы о своих подданных. Он видел зло крепостного права, но как можно было тронуть этот самый фундамент общественного строя страны, не пробудив тот революционный и анархический вирус, который, как верили он и его советники, скрыт в политическом организме России и может быть удержан от превращения в эпидемию только самой тщательной бдительностью и репрессией?

Режим постепенно упразднил военные поселения и в 1830–1840-х годах принял некоторые меры, призванные улучшить положение государственных крестьян. Но последние — как обычно бывает, когда паллиативами пытаются лечить крупные социальные проблемы, — привели к беспорядкам и массовым крестьянским волнениям, тем самым подтверждая страхи правительства: всякая перспектива изменения положения крестьянина лишь возбуждает его анархические инстинкты. Поэтому, когда правительство в 1839 году создало комитет для рассмотрения положения помещичьих крепостных, оно сделало это в строжайшей тайне; членам комитета было запрещено раскрывать его истинную цель и ход обсуждений даже своим коллегам-чиновникам. Но работа комитета не привела к сколько-нибудь существенному изменению положения частновладельческих крепостных.

Тот же страх перед реформой характеризовал отношение правительства к другим социальным вопросам. За эти тридцать лет не произошло значительного — по сравнению с Западом — промышленного роста: многочисленный средний класс, не говоря уже о городском пролетариате, способствует политическим волнениям, что события в остальной Европе демонстрировали более чем наглядно. Режиму Николая было бы несвойственно чрезмерно поощрять образование на каком бы то ни было уровне: университеты были потенциальными рассадниками крамольных идей, а после 1848 года, когда немецкие и австрийские студенты проявили особую активность в революционных беспорядках в своих странах, преподавание философии в российских высших учебных заведениях было запрещено. Широкая система начального образования была очевидно непрактична — в сущности, даже жестока, пока сохранялось крепостное право; поэтому немного, что делалось на этом уровне, было оставлено церковным школам. Промышленная революция со всеми её социальными следствиями была твёрдо остановлена на пограничных заставах империи. На фоне созидательной смуты, охватившей остальную Европу, русское общество, казалось, дремало.

Его грехи бездействия во внутренней политике, возможно, не оказались бы столь пагубными для самодержавного принципа, если бы царь был способен успешно укреплять могущество России за границей. Но к концу царствования всё яснее становилось, что и здесь он был далёк

от Петра Великого. Когда Габсбургская империя оказалась на грани распада, царь в 1849 году послал свои армии в Венгрию, чтобы подавить национальное восстание против австрийского владычества. Этот шаг, принесший ему на Западе прозвище «жандарма Европы», не мог радовать многих его подданных, для которых Габсбургская держава олицетворяла немецкое угнетение миллионов собратьев-славян и соперничество с Россией за господство в Юго-Восточной Европе. Помогая собрату-самодержцу, Николай показал, что ставит соображения монархической легитимности выше того, что русская элита считала национальным интересом России.

Окончательный удар по националистической мистике николаевской системы нанесло поражение России в Крымской войне. Война ярко выявила все последствия реакционного режима, от которого страна страдала целое поколение: её изоляцию в европейской политике, её экономическую и социальную отсталость, теперь превратившуюся в военную слабость. Армия была некомпетентно руководима; её снабженческая система была пронизана коррупцией; а неспособность развить должную систему сообщений — в 1850-е годы империя едва вступила в железнодорожный век — означала, что невозможно было своевременно подвести достаточные подкрепления, чтобы предотвратить окончательное поражение — падение крепости Севастополь. Таким образом, русская армия, поглощавшая значительную долю государственных доходов, оказалась неспособной справиться с численно уступавшими ей французскими и британскими силами. Габсбургская империя, которую Николай всего несколькими годами ранее помог спасти, заняла угрожающую позицию по отношению к своему благодетелю. Это, в сочетании с поражениями и отчаянным экономическим положением, вынудило Россию просить мира. 18 февраля 1855 года царь умер после краткой болезни, и многие весьма осведомлённые люди были твёрдо убеждены, что, столкнувшись с крахом своей системы, Николай покончил с собой.

Даже в старой Московии русские обычно встречали смерть своего правителя смесью трепета и надежды — красноречивое свидетельство того, как мало они традиционно верили в внутреннюю прочность ткани национальной жизни и насколько всё, по их представлению, зависело от личности монарха. Тревога момента была столь велика, что тогда почти не заметили: Александр II стал первым царём с 1725 года, вступившим на престол без драмы дворцового переворота или узурпации, сопровождавшей или вскоре следовавшей за его воцарением. По российским меркам он был хорошо подготовлен к своим грозным обязанностям. Вопреки всему, чего можно было ожидать, Николай был любящим и просвещённым родителем, и Александр, хотя и оставался почтительным сыном, вскоре показал, что желает быть совсем иным правителем, чем его отец.

Ещё прежде чем можно было различить политический облик нового царствования, в самой атмосфере произошла электризующая перемена. Словно дверь тюремной камеры внезапно распахнули, и заключённые, всё ещё стеснённые и не уверенные в своей судьбе, впервые за долгое время смогли вдохнуть свежий воздух. Коронация нового монарха в 1856 году сопровождалась глубоко символическим актом: немногие декабристы, пережившие сибирскую ссылку, были помилованы и получили разрешение вернуться в Европейскую

Россию. Этот акт милосердия был омрачён оговоркой — тоже по-своему, хотя менее счастливо, символичной: возвращавшимся изгнанникам запрещалось жить в обеих столицах. Правительство, таким образом, как будто опасалось, что эти люди, большинство из которых были уже шестидесяти- и семидесятилетними стариками, всё ещё могут быть носителями политической заразы. Общество встретило их с благоговением; для русских почти всех политических направлений эти прежние участники юношеских «безумных игр» и дилетантские заговорщики теперь стали мучениками, а их освобождение — предвестием лучшего будущего для страны.

Что касается облика этого будущего, все мыслящие люди разделяли чувство неотложности политических и социальных перемен, но немногие могли выразить его в какой-либо конкретной идее. Официальная цензура по-прежнему запрещала публичное обсуждение политики, но даже в частной переписке и суждениях большинство ведущих представителей общества — некоторые из них вскоре окажутся среди инакомыслящих и революционеров — ещё были крайне неуверенны в том, какие законы и учреждения нужны, чтобы страна достигла того «уровня величия и благоденствия, для которого она была предназначена Творцом». Долгий сон при Николае атрофировал то слабое чувство практической политики, которое российской элите было позволено развить до 1825 года; поэтому она пока была неспособна дать конкретные предложения относительно того, как должен быть исполнен замысел Творца. Её ведущие представители склонны были рассматривать наиболее насущные вопросы дня сквозь призму нравственных императивов и философских абсолютов. Виссарион Белинский, который, соединив литературную и социальную критику, стал предтечей русского радикала 1860-х годов, писал в 1847 году: «Самые насущные национальные вопросы в России ныне суть: уничтожение права владеть крепостными, отмена телесных наказаний, введение, насколько возможно, строгого исполнения хотя бы тех законов, которые уже существуют».² В этом перечне общественных приоритетов подразумевалось, что заняться этими язвами русской жизни должны «они» — правительство. Поскольку письмо, хотя и частное, предназначалось для широкого распространения, автор не мог или не желал уточнить, каким образом реформы должны быть осуществлены. Даже так, лишь смерть, последовавшая вскоре после этого, спасла его от Третьего отделения.

Даже в 1855 году немногие русские были готовы предложить практические пути решения чрезвычайно сложных проблем, связанных с отменой крепостного права, и ещё меньше было тех, кто ясно видел, что потребуется для реформирования фантастически анахроничной и коррумпированной судебной и бюрократической системы.

Но если русское общество ещё не было готово стать партнёром правительства в реформе, оно было готово — и в некоторой степени получило дозволение — быть его критиком и судьёй. Поразительная особенность России между 1855 и 1905 годами состояла в том, что, оставаясь абсолютной монархией и полицейским государством, она имела политическую жизнь, на которую сильно влияло и которую во многом формировало общественное мнение.

²В. С. Белинский, «Письмо к Гоголю», в: В. G. Guerney, *A Treasury of Russian Literature* (Нью-Йорк, 1947), с. 243.

Политические идеи и страсти, лишённые своих естественных выходов, устремлялись в культурную и интеллектуальную жизнь нации и временами господствовали в ней. Всё ещё подверженные порой суровой цензуре, русская литература и печать приобретут политическое значение, превосходившее значение самых влиятельных авторов и журналов либерального Запада.

Пишущему об этом периоде в некотором смысле неточно, хотя порой неизбежно, употреблять слово «инакомыслие». Критическое отношение к российской действительности, враждебность к правительству — опять с оговоркой, что император в этой связи часто, как и в данный период, мыслился как нечто отдельное от правительства и стоящее над ним, примерно так, как американец различает президента и бюрократию, — были среди образованного класса скорее правилом, чем исключением. Термин «интеллигенция», входящий в употребление при Александре II, обозначает не только социальный слой — представителей свободных профессий и людей, которые по роду занятий или по выбору заняты интеллектуальным трудом, — но и установку отчуждения от существующей системы и оппозиции ей. При фактическом отсутствии среднего класса в западном смысле именно интеллигенция присвоит себе право говорить от имени общества; в действительности большинство дореволюционных авторов из её среды будут употреблять эти два слова как взаимозаменяемые.

Идя ещё дальше, радикальная часть интеллигенции вскоре заявит, что представляет истинные интересы народа — бессловесной массы крестьян, находящихся в рабстве не только из-за крепостного права, но и психологически, вследствие суеверного преклонения перед императором, которого они по невежеству считали своим защитником от чиновников и помещиков, а не видели в его истинном свете — как главного помещика и главного бюрократа.

В этом составе главных действующих лиц драмы русской истории второй половины XIX века будет заметно отсутствовать фигура, уже часто встречавшаяся на европейской политической сцене, — либерал. Идеологически западный либерализм основывался на утверждении самой полной свободы личности — политической, экономической, религиозной, социальной — перед лицом государства. Исторически его появление стало возможным благодаря условиям, свойственным Западной Европе: существованию значительного делового сообщества, хотя бы зачаточным парламентским и свободололюбивым традициям и т. д. В России 1855 года всего этого не было.

Прогрессивно настроенный русский не мог принять концепцию святости частной собственности — один из основных догматов либерализма, — если его самым насущным требованием была отмена частного владения крепостными. Он не мог верить в свободу предпринимательства, если, казалось, только государство могло быть равно грандиозной задаче социальной инженерии, необходимой для того, чтобы вывести страну из её ужасающего положения. Интеллигенция жаждала многих свобод, которые видела на Западе, а прогрессивно настроенные бюрократы осознавали необходимость введения некоторых западных учреждений хотя бы для того, чтобы государство функционировало эффективнее.

Но главным психологическим препятствием, не позволившим русскому обществу проникнуться этосом либерализма, в отличие от принятия отдельными его слоями избранных либеральных элементов, оказался национализм. Национальная гордость противилась мысли, что Россия должна всего лишь учиться у Европы и подражать ей. Сознание декабристами отсталого и рабского положения своей страны в качестве компенсации заставляло их мечтать о России, которая, используя лучшее в мысли и учреждениях Запада, далеко превзойдёт его в отношении свободы и социальной справедливости. Эту идею подхватит круг так называемых западников 1840–1850-х годов, и она станет ведущим мотивом радикальной части интеллигенции.

Для консервативного русского видение особого предназначения своей страны, столь же приятное национальному amour propre, основывалось на иной предпосылке. Чтобы исцелить политический организм России, нужна была не более совершенная версия чужеземных учреждений, а реформа, которая очистила бы национальную жизнь и политику от чуждых наростов. Славянофилы, как называли себя последователи этого интеллектуального направления, искали вдохновение в прошлом России — или, вернее, в созданной ими по большей части вымышленной картине её истории до Петра I, искажившего ткань национальной жизни, насильственно втиснув правительство и общество в чужую форму. В тот золотой век царь правил самодержавно и всё же в совершенном согласии с народом, прислушиваясь к советам Земского собора — своего рода Генеральных штатов, которые в России XVII века в действительности собирались крайне редко, — и заботясь о благополучии своих подданных.

Глубоко духовный по своей природе русский народ, по мысли славянофилов, презирал ложных идолов современного Запада — материализм и индивидуализм — и стремился не к таким новомодным приспособлениям, как конституции и парламенты, а к восстановлению добрых старых времён, когда между царём и его народом царила полная гармония и никакая назойливая и продажная бюрократия не стояла между ними.

Очень показательна для образа мыслей образованного русского записка, представленная Александру II в начале его царствования видным писателем и славянофилом Константином Аксаковым. До 1855 года никто не осмелился бы выразить подобные настроения письменно, тем более обратиться с ними к монарху:

Нынешнее состояние России есть состояние внутреннего беспорядка и раздора, прикрытого покровом бессовестной лжи. Правительство и высшие классы стали чужими собственному народу. ... Не только народ не спрашивают о его мнении, но всякий честный человек боится открыть рот. Народ не доверяет правительству, и наоборот. Первый в каждом действии режима склонен видеть новую форму угнетения; правительство же постоянно боится революции и в каждом независимом выражении мнения видит подрывную деятельность.³

Самое поразительное в жалобах автора, из которых приведённое выше — лишь малая часть, заключается прежде всего в крайней расплывчатости его политической терминологии. Обычно «народ» означает у него все классы ниже правящей элиты, иногда — как в

³ Бродский, с. 89.

современном обычном смысле — крестьян. Автор не включает императора в своё обвинение правительства: для него император стоит над бюрократией. И всё же он произносит суровые слова о «культе личности» царя — «той безмерной бессовестной лести ... которая превратила уважение, должное царю, в идолопоклонство, словно он бог». Что же касается правящего класса и бюрократии: «... все лгут друг другу, знают это и продолжают лгать. ... Взятничество и систематическое расхищение чиновниками достигли страшных размеров. И крадут не только нечестные люди; некоторые вполне честные люди являются — по необходимости — ворами. ... Это коренится в состоянии общества, в природе политической системы».⁴

Далее, автор этой обличительной речи не приходит к каким-либо революционным выводам или хотя бы к радикальным средствам. Напротив. Верный своему славянофильскому кредо, он не верит, что народ способен к самоуправлению или желает его. «Русский народ не политичен; он не ищет власти над государством, не требует политических прав». Учитывая общий ход его рассуждения, поразительно — по крайней мере для всякого, воспитанного в рационалистической традиции, — что Аксаков может продолжать: «Абсолютная монархическая власть для русского не враг и не противник, а друг и поручитель свободы — той истинной духовной свободы».

Посмотрите на Запад! «Его народы, оставив путь религиозного и духовного развития, стали жертвой побуждения эгоистического политического тщеславия. ... Они создали республики, возились со всевозможными конституциями и тем самым духовно обнищали».⁵ Кроме того, несмотря на все притязания таких систем на превосходство, они подвержены постоянным политическим и социальным потрясениям. Да сохранит Бог Россию от такой свободы!

В своём итоговом суждении о русской истории автор заключает, что источник всех бед лежит в «нерусских» реформах Петра Великого, для которого его народ был лишь глиной, подлежащей лепке по иностранному образцу, а не живым организмом. Все несчастья, постигшие государство и народ с его времён, были следствием дела этого заблудшего гения, включая даже восстание декабристов — «бунт высших классов, отчуждённых от народа, ибо солдаты, вовлечённые в него, как известно, были обмануты своими офицерами».⁶ В свете его уничтожающего приговора современной России есть невольная ирония в негодовании Аксакова по поводу того, что «со времён Петра» для русского стало почти обязательным презирать свою страну и свой народ.

Чтобы достичь спасения, необходимо «понять Россию и вернуться к началам, соответствующим её национальному духу».⁷ Не следует пытаться возродить старый Земский собор. Это хранилище народной мудрости состояло из представителей различных сословий.

⁴ Бродский, с. 91.

⁵ Бродский, с. 69.

⁶ Бродский, с. 86.

⁷ Бродский, с. 92.

Но, увы, последние — то есть сословия — выродились со времён допетровской Руси и уже не могут считаться надёжными источниками здравого совета государю. Есть нечто трогательное в том, как Аксаков оценивает различные социальные слои нации, которую он всё ещё считает духовно превосходящей все прочие. По его мнению, русское дворянство развращено западными философиями и нравами, а купечество обезьянничает, подражая чужим обычаям: свидетельство тому — их одежда, нелепая смесь традиционного и западного: жилет, надетый поверх русской длинной рубахи; родные сапоги, но иностранный галстук! О ремесленниках лучше и не говорить: это «самый жалкий класс во всей России». Из всех них именно русский крестьянин лучше всего сохранил старые национальные добродетели, «но что могли бы сказать крестьяне, так долго молчавшие?»⁸

Чтобы изменить это плачевное положение, автор предлагает императору один конкретный шаг: позволить максимально полную свободу слова и печати. Здесь апологет самодержавия вновь становится типичным интеллигентом, с той лишь разницей, что его просьба о свободе слова укоренена в глубоком религиозном чувстве Аксакова. Это чувство позволяет ему не замечать возможной несовместимости между свободами, за которые он ратует, и самодержавной системой; заставляет его обходить даже те оговорки, которые сделал бы самый последовательный либерал, отстаивая такие свободы для общества, всё ещё преимущественно неграмотного, где демагог или фанатик мог бы использовать невежество и суеверия масс. «Когда истина освобождена от всех стеснений, она всегда достаточно сильна, чтобы сокрушить ложь. ... Было бы грехом верить иначе».⁹

Славянофилы, при всей анахроничности и полумистическом складе своего мышления, не могут считаться реакционерами. Они стремились к иной России. Они верили, что крепостные должны быть освобождены. Они хотели, чтобы правительство внимало свободному голосу нации. Но их некритический национализм способствовал созданию интеллектуальной атмосферы, в которой русская политика второй половины XIX века стала сценой столкновения революции и реакции, тогда как реформа занимала лишь слабое третье место; а тот русский либерализм, который существовал, не обладал ни силой реакции, ни страстью радикализма.

Реакция ухватится за отрицательную часть славянофильского довода: России не нужны представительные учреждения, отражающие моральное разложение и композицию Запада. Левая сторона, в свою очередь, сочтёт французскую или британскую конституционную модель совершенно недостаточной для выражения изначально демократического духа и устремлений русского народа. Александр Герцен, воплощавший западническое направление в интеллигенции и одновременно бывший одним из родоначальников современной русской революционной мысли, писал уже в 1851 году, после четырёх лет знакомства с Западом:

⁸ Бродский, с. 94. Другой консервативный писатель того периода, Михаил Погодин, выразил свою сдержанность в отношении русского крестьянина менее умеренно: он был замечательным человеком, насколько речь шла о его потенциале, но в действительности массы были «низкими, отвратительными и звероподобными».

⁹ Бродский, с. 286.

Различіе между вашими законами и нашими указами заклю чается только въ заглавной формулѣ. Указы начинаются подавляю шею истиною: «царь соизволилъ повелѣть»; ваши законы начи наются возмутительною ложью: ироническимъ злоупотребленіемъ имени французскаго народа и словами «свобода, братство и равенство». -----
----- . Наполеоновскій сводъ имѣетъ рѣшительно тотъ же характеръ. На насъ лежитъ слишкомъ много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли на себя еще новыя. Въ этомъ отношеніи мы стоимъ совершенно на ряду съ нашими крестьянами. Мы поко ряемся грубой силѣ. Мы рабы, потому что не имѣемъ возможности освободиться, но мы не принимаемъ ничего отъ нашихъ враговъ. Россія никогда не будетъ протестантскою. Россія никогда не будетъ *juste-milieu* г). Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлью отдѣлаться отъ царя Николая и замѣнить его царями-представителями, ца- рями-судьями, царями-полицейскими.¹⁰

То, что представительные русские мыслители — и справа, и слева — могли с таким презрением отвергать достижения наиболее цивилизованных народов Европы в деле свободы, не было добрым предзнаменованием для будущего свободы в России.

Перед страной стояла одна проблема, относительно которой большинство соглашалось: она не могла ждать разрешения философского спора об истинном предназначении России, и модные тогда западные философии могли мало помочь её решению. [Если декабристы прислушивались к голосу британских и французских социальных мыслителей и теоретиков конституционализма, то первое поколение интеллигенции, особенно в юности, было буквально пленено немецкой идеалистической философией. При всѣм своём «почвенничестве» славянофилы, даже подчёркивая своеобразие русского исторического опыта, вторили органическим теориям и политическим идеям Гегеля и Шеллинга.] Это был крестьянско-земельный вопрос.

В 1856 году, обращаясь к собранию дворян, Александр II довольно двусмысленно обозначил свои намерения по этому вопросу:

Господа, мне стало известно, что среди вас ходят слухи, будто я намерен уничтожить крепостное право. Чтобы предотвратить распространение подобных безосновательных слухов по столь важному предмету, считаю необходимым сказать вам, что в настоящее время я не имею такого намерения. Но, разумеется, вы сами понимаете, что нынешнее положение дел не может продолжаться. Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того момента, когда оно начнёт разрушаться снизу. Прошу вас, господа, подумать, как привести это в исполнение.¹¹

Слова императора, хотя и произнесѣнные на закрытом собрании и предназначавшіеся на тот момент лишь для дворянства, разумеется, стали широко известны.

Задача освобождения крепостных должна была стать самым масштабным и сложным актом социального законодательства и общественного переустройства в Европе XIX века — и оставаться таковой для всей русской истории вплоть до 1930-х годов, когда Сталин, навязав

¹⁰ Александр Герцен, *Сочинения*, ред. Михаил Лемке, VI (Санкт-Петербург, 1919), с. 456–457.

¹¹ С. С. Татищев, *Император Александр II*, I (Санкт-Петербург, 1903), 302.

советскому крестьянству коллективизацию, фактически создаст новую форму крепостничества. То, что в Западной Европе было совершено столетиями исторического развития, в России предстояло осуществить в течение нескольких лет.

Задача казалась громадной: прежде всего она затрагивала жизнь, правовой и экономической статус примерно сорока трёх миллионов крестьян. Она касалась имущественных прав тридцати тысяч помещичьих семей. Она влияла на всё развитие русского общества почти столь же фундаментально, как позднее революция 1917 года. И всё же основные черты реформы были выработаны в течение четырёх лет — с 1857 по 1861 год, — а в действие она была приведена в последующие девять лет.

Проблема освобождения примерно девятнадцати миллионов крестьян, принадлежавших государству, и двух миллионов, являвшихся собственностью императорской фамилии, была сравнительно простой. Главная трудность касалась двадцати двух миллионов крестьян, находившихся в собственности частных владельцев. Хотя они не были рабами в буквальном смысле слова, их личности, как и земля, принадлежали их господам. Последние могли приказать высечь их и заключить в исправительные дома на срок до трёх месяцев. Фактически, хотя и не юридически, владелец крепостных мог принудить их вступить в брак против воли, выбрать тех, кто должен был служить в армии, лишить крепостного земли, сделать его своим дворовым слугой.

И всё же помещик имел определённые обязанности перед своими крестьянами; хотя они часто соблюдались скорее на бумаге, полностью пренебрегать ими было нельзя. Он был обязан не допускать их полного разорения и нищеты. Заведомо жестокий хозяин мог получить предупреждение от властей, а в крайних случаях — быть заключён в тюрьму или отправлен в ссылку. Однако чаще всего именно личный интерес и осторожность заставляли среднего помещика соблюдать определённую меру человечности и сдержанности в обращении со своими подопечными. Перед глазами у них были не столь уж редкие примеры помещиков, убитых доведёнными до отчаяния крепостными, или усадеб, подожжённых ими же. Разумнее было позволить крестьянам некоторую долю самоуправления и прислушиваться к советам старейшин сельской общины при разрешении споров, выборе деревенских парней для военной службы и тому подобном.

При всём этом крестьянские волнения, вызванные особенно тяжёлыми требованиями к ним, происходили довольно регулярно, а в 1850-е годы становились всё чаще. Владеть крепостными становилось несколько опасным делом; кроме того, как понимали более разумные помещики, подобно большинству систем несвободного труда, крепостничество не способствовало эффективности и потому в известном смысле было экономическим бременем как для владельцев, так и для их несвободных арендаторов.

Царь надеялся, что общие очертания реформы могут быть выработаны совместно правительством и помещиками-крепостниками. Отсюда его обращение к дворянству с просьбой предложить проекты освобождения. Но при всём наличии просвещённых и патриотически настроенных отдельных лиц, понимавших необходимость освобождения,

дворянство в целом не могло, как следовало ожидать, отнестись беспристрастно и бескорыстно к реформе, которая, помимо лишения его феодальных прав, столь глубоко затрагивала его экономические интересы.

Немногие были готовы защищать крепостное право как таковое, хотя кое-где закоренелый реакционер ещё мог изображать его как патриархальные отношения, во многих отношениях более выгодные для крепостного, чем, скажем, положение арендатора-крестьянина у помещика в Ирландии или положение промышленного пролетариата на Западе. Этот довод поразительно напоминал аргументацию защитников рабства в Соединённых Штатах до Гражданской войны. В общем и целом все соглашались, что личная зависимость должна быть отменена.

Главная трудность касалась земельной стороны отношений между помещиком и крепостным: каким образом можно было развязать этот gordiev узел так, чтобы решение оказалось справедливым и равным как для крестьянина, так и для его господина, а также способствовало социальной устойчивости и материальному прогрессу. Экономическая сторона крепостного права представляла собой чрезвычайно сложную мозаику законов и обычаев. Подавляющее большинство крепостных пользовалось землёй, которая обеспечивала им средства к существованию и за которую они платили своим господам либо деньгами и натуральными повинностями, либо работая несколько дней в неделю на земле, непосредственно принадлежавшей помещику; иногда применялось сочетание обеих форм. Некоторые крепостные работали в городах и местечках ремесленниками, промышленными рабочими или даже предпринимателями, отдавая часть своего заработка помещику, из деревни которого они происходили.

Самый фундаментальный вопрос, стоявший перед разработчиками реформы, заключался в следующем: должен ли крестьянин быть освобождён вместе с землёй, которую он считал своей, или без неё? Неудивительно, что большинство помещиков склонялось ко второму варианту.

Однако освободить крестьян, не дав им земли, было неприемлемо для более просвещённых советников царя — как по соображениям справедливости, так и по соображениям социальной устойчивости. Превратить крепостного в безземельного сельскохозяйственного рабочего, которому пришлось бы заключать с бывшим господином наилучшую возможную для себя сделку, либо быть выброшенным из своей деревни и вынужденным искать работу где-то ещё, означало бы лишить его той малой доли материальной и психологической безопасности, которой он обладал даже в состоянии несвободы. Крестьяне, весьма вероятно, отвергли бы такую свободу и увидели бы в ней куда более зловещую форму угнетения.

«Мы ваши, но земля наша» — таково было типичное и исконное крестьянское понимание своих отношений с господином. Но сколько земли должно было получить каждое крестьянское хозяйство при освобождении? Ровно столько, сколько оно имело прежде? Или столько, сколько статистики, с учётом региональных различий, сочтут необходимым для обеспечения существования средней семьи?

Столь же запутанной была проблема возмещения помещикам. Следовало ли платить им только за землю, передаваемую их бывшим крепостным, или также за их «крещёную собственность», как Герцен называл крепостных? Кто должен был взять на себя стоимость всей этой операции — и каким образом?

Если бы решение этих вопросов было оставлено крепостническому дворянству, оно, несомненно, дало бы ответы, продиктованные его собственным интересом — или тем, что оно считало таковым. Крестьянину было бы предоставлено мало земли или вовсе никакой, сверх его усадебного участка; а некоторые помещики и этого ему не желали, считая, что вместе с его личностью следует освободить только его жилище. Тем самым крестьянин стал бы экономически ещё более зависимым от своего господина. Правительственные комитеты, в свою очередь, состоявшие главным образом из консерваторов, опасавшихся оттолкнуть класс, из которого они сами происходили, продолжали бы обмениваться бесчисленными записками, предлагая половинчатые меры и тому подобное.

Но на этот раз самодержавный принцип был оправдан как орудие общественного блага. Александр II был решительно настроен освободить крепостных. И власть самодержца была достаточно сильна, чтобы взять верх над интересами правящего класса и принципом святости частной собственности. Разумеется, не полностью: царь был консерватором и вовсе не желал председательствовать при социальной революции или разорять дворянство. Но он не позволил бы дворянству стать преградой на пути его представлений о том, как должна быть осуществлена реформа.

Сам способ, каким он вынес этот вопрос на открытое обсуждение, сам по себе был революционным. Традиция требовала, чтобы всякие крупные социальные или политические реформы обсуждались без огласки, в закрытых чиновничьих комитетах, дабы не тревожить умы народа, не породить необоснованных и чрезмерных ожиданий или страхов. Здесь же, сделав шаг, который сам по себе означал решительный отход от системы, воплощённой его покойным отцом, император порвал с традицией, согласно которой вопросы высокой политики не относились к числу тех, которыми общественность имела право интересоваться.

В рескрипте генерал-губернатору Литвы от 20 ноября 1857 года, вскоре опубликованном, Александр II призвал дворянские комитеты края подготовить планы «улучшения быта помещичьих крестьян», причём главным содержанием этого улучшения должны были стать отмена крепостного права и обеспечение освобождённого крестьянина достаточным количеством земли для нужд его самого и его семьи.¹² Затем аналогичные послания были направлены в другие губернии империи с предписанием их дворянству действовать подобным же образом.

Иными словами, помещики должны были стать инструментом ограничения собственных привилегий. Поскольку намерения царя теперь стали достоянием общественности, пути назад

¹² Татищев, I, 314–316.

уже не было, а власть и престиж самодержавия стояли за громадным социальным преобразованием. Реакционная часть дворянства и чиновничества теперь могла лишь задерживать реформу и чинить ей препятствия, но уже не могла её остановить. В обществе в целом действия императора вызвали огромное ликование и воодушевление: «То, чего давно ждали, наконец должно осуществиться, и я счастлив, что дожил до этого», — писал Иван Тургенев Льву Толстому.¹³

То обстоятельство, что русская монархия XIX века могла стать проводником социальных перемен, представляет известное затруднение для советских историков, которым довольно трудно уложить этот факт в марксистские категории. «Как объяснить, что правительство предприняло реформы вопреки желаниям большинства дворянства?»¹⁴ Они, как правило, дают на этот вопрос два ответа. Во-первых, правительство лучше самих помещиков понимало их реальные классовые интересы и осознавало, что крепостное право должно быть отменено, если нужно избежать крупномасштабных крестьянских восстаний. Во-вторых, более просвещённая часть дворянства ясно видела, что выгоднее заменить крепостной труд наёмным или, говоря марксистским языком, заменить феодальный тип сельской экономики капиталистическим.

Но такие объяснения, разумные до определённой степени, всё же упускают главный импульс, стоявший за стремлением к реформе: убеждение, что и по нравственным, и по патриотическим основаниям необходимо положить конец системе, при которой большинство русских людей оставалось несвободным. Этот советский авторитет приводит слова человека, который, вероятно, больше, чем кто-либо другой, был ответственен за формулирование общих принципов закона об освобождении: «Ни один мыслящий, просвещённый человек, любящий своё отечество, не мог быть против освобождения крестьян. Человек не должен принадлежать другому человеку. Человек не товар».¹⁵

Автором этих слов был генерал Яков Ростовцев. Именно он, будучи молодым офицером и имея друзей среди членов тайных обществ, накануне 14 декабря предупредил Николая I о готовящемся восстании и умолял его отказаться от престола, чтобы избавить Россию от потрясения. Некоторые из его бывших друзей-декабристов впоследствии поверили версии Ростовцева о его встрече с царём: он действовал из патриотического побуждения и отказался назвать имена заговорщиков. Но для других на нём лежало клеймо доносчика.

При прежнем царствовании он был высокопоставленным и, судя по всему, весьма консервативным чиновником. Будучи главным начальником военно-учебных заведений, он издал приказ, содержащий примечательное утверждение: «Совесть должна руководить человеком в его частном и семейном поведении, тогда как в профессиональных и гражданских обязанностях он должен поступать согласно распоряжениям начальства». Но после 1856 года

¹³ И. С. Тургенев, *Сочинения*, III (Москва, 1961), 187.

¹⁴ П. А. Зайончковский, *Отмена крепостного права* (Москва, 1968), с. 87.

¹⁵ Зайончковский, с. 69.

Ростовцев стал твёрдым и неутомимым тружеником во имя крестьянской реформы. Будучи лично близок к Александру II, он укреплял его решимость не обращать внимания на недовольных среди дворянства. Назначенный председателем редакционной комиссии по составлению закона об освобождении, уже будучи больным, он продолжал работу до самого дня своей смерти — 5 февраля 1860 года.

В авторитарной системе — будь то царской или советской — нередко случается, что высокий сановник принимает политическую окраску правителя: реакционер при одном царе или генеральном секретаре становится либералом при другом. Но в случае Ростовцева это превращение было вызвано ни раболепием, ни цинизмом. Вместе с другими ведущими людьми того времени он видел в освобождении крестьян обещание новой и славной эпохи для своей страны.

Продолжительность этого патриотического подъёма можно определить довольно точно. Он длился с ноября 1857 года, когда нация узнала о решимости царя, до февраля–марта 1861 года, когда она была воплощена в законе.

Никогда прежде и никогда впоследствии русское общество не приветствовало своего правителя с таким воодушевлением и не возлагало на него такого доверия, как в эти четыре года. Реформы Петра Великого были навязаны силой непонимающей нации и упорствующему дворянству. Популярность Александра I была лишь кратким отражением национальной победы над Наполеоном. Ликование, встретившее Февральскую революцию 1917 года, сразу же сменилось социальным хаосом и партийной борьбой. Говорить о популярности Сталина означало бы исказить смысл самого слова. Даже в конце Второй мировой войны он был предметом раболепного поклонения, составленного из благоговения и страха.

На протяжении большей части своей истории русскому народу было трудно уважать правителя, которого он не боялся. Слово он привык подозревать, что власть и свобода в действительности несовместимы. Он жаждал свободы, но не меньше боялся анархии. Однако во время подготовки освобождения, на протяжении нескольких лет, можно было питать иллюзию, будто живёшь в лучшем из всех возможных русских миров: самодержавие было вполне живо — и оно становилось орудием свободы.

Эти парадоксальные чувства господствовали не только среди интеллигенции внутри страны; они достигали и далёкого Лондона, где двое политических эмигрантов положили начало традиции инакомыслия, ставшей источником всех последующих русских революционных и радикальных движений. Именно в Лондоне в 1853 году Александр Герцен основал Вольную русскую типографию, посвящённую борьбе с царским деспотизмом. Сын богатого дворянина, Герцен ещё в юности посвятил себя следованию по стопам декабристов. В 1856 году к нему в Лондоне присоединился друг детства Николай Огарёв. Год спустя они начали издавать знаменитый «Колокол», «посвящённый делу русского освобождения и распространению в России свободных идей».

Гениальный писатель, Герцен использовал своё перо, чтобы бичевать пороки, несправедливости и нелепости современного русского общества и правительства. Вскоре он стал — и на несколько лет оставался — выразителем почти всего прогрессивного и радикального, что существовало в интеллектуальной среде России. Казалось, он был её вождём. «Колокол» регулярно тайно провозили в страну, где он приобрёл очень широкое по тем временам распространение, а также сеть подпольных корреспондентов, снабжавших Герцена политическими новостями и рассказами о злоупотреблениях чиновников, которые, разумеется, невозможно было обнародовать внутри России. Этот тонкий — обычно восьми- или десятистраничный — двухнедельник стал более достоверной хроникой происходящего в России, чем любой журнал, издававшийся там, и потому его тайно искали даже чиновники.

Герцен считал себя социалистом, а его ненависть к Николаю I, как и практически ко всем современным правителям, оставляла в нём мало сочувствия к институту монархии. Время от времени «Колокол» помещал весьма непочтительные истории о некоторых членах императорской семьи. Правительство в Петербурге видело в Герцене то, чем он в действительности и был — хотя и не всегда последовательно: революционера, проповедовавшего свержение существующего политического и общественного строя.

И всё же великий изгнанник, сам признававший себя наследником революционного завещания Пестеля и Рылеева, временами — особенно между 1857 и 1861 годами — говорил так, будто был убеждённым сторонником самодержавия. Ещё раньше он, открытый противник славянофилов, восторженно приветствовал восшествие Александра II на престол: «Вы истинно любите Россию, и Вы так много можете сделать для русского народа». До того ещё не было никаких признаков, что новый царь станет реформатором; напротив, считалось, что его взгляды были сформированы отцом, которого Герцен ненавидел. И всё же, в отличие от своих декабристских предшественников и образцов, Герцен требовал от монарха не конституции и не представительных учреждений, а лишь того, чтобы тот употребил свою самодержавную власть на общественное благо.

«Государь, дайте нам свободу слова... Нам так много нужно сказать миру и самим себе... Дайте землю крестьянам... снимите с России страшное пятно крепостного права, исцелите рубцы от кнута на спинах наших братьев...»¹⁶ Первые намёки царя на крестьянскую реформу вызвали у демократа и социалиста ещё более славянофильски звучащее восхваление самодержца: «Ни один монарх в Европе не находится в таком благоприятном положении, как Александр II. Имея всю власть в своих руках, опираясь, с одной стороны, на народные массы, а с другой — на всех мыслящих и образованных людей России, нынешнее правительство могло бы без малейшей опасности для себя совершить настоящие чудеса».¹⁷

Императорский рескрипт ноября 1857 года был довольно двусмысленным и неопределённым в отношении окончательного решения крестьянского вопроса. Тем не менее, поскольку он

¹⁶. Цит. по: Владимир Бурцев, *Сто лет* (Лондон, 1897), с. 19, 21.

¹⁷ *Колокол*, 1 августа 1857.

означал, что режим теперь публично обязался провести реформу, от Герцена можно было ожидать одобрения. Но его реакция превзошла простое удовлетворение. Она выразилась в эйфории, переходящей в культ личности царя, который, несмотря на все обещания отменить крепостное право, ясно показывал, что намерен сохранить свою самодержавную власть и все её принадлежности — тайную полицию, цензуру и тому подобное.

Теперь его воспринимали как ответ на вековые молитвы народа, как воплощение одновременно самодержавной и революционной традиций. «Перед нами не случайный преемник Николая, а могучий государственный человек, открывший новую эпоху для России. Он в такой же мере наследник 14 декабря, как и Николая. Он работает вместе с нами ради величия нашего будущего». Писатель, должно быть, понимал, что ещё не было уверенности, не закончится ли освобождение тем, что крестьяне останутся безземельными и ещё более зависимыми от бывшего господина, чем прежде. Но Герцен уже был убеждён, что «имя Александра II отныне принадлежит истории; если бы его царствование закончилось завтра, если бы он пал под ударами каких-нибудь мятежных олигархов, защитников крепостничества и кнута, это всё равно ничего бы не изменило. Он начал дело освобождения крепостных. Будущие поколения никогда этого не забудут».

От имени радикальной интеллигенции Герцен заверял монарха, что все они теперь его союзники и что это почтение исходит от людей, «которым нет причин его бояться, которые ничего не хотят и ничего не просят для себя». Статья начинается и заканчивается знаменитым возгласом: «Ты победил, Галилеянин».¹⁸ Ни один славянофил не решился бы на столь экзотический язык: Александр II, сравниваемый с Христом, — и это из уст атеиста!

Эти признания лояльности диктовались не только страстью к социальной справедливости, не только радостью от того, что сорока миллионам соотечественников будет возвращено человеческое достоинство через обретение свободы, но и национальной гордостью. Та же гордость руководила заключёнными декабристами, которые психологически пали ниц перед своим императорским тюремщиком, услышав из уст Николая I: «Я тоже русский». Их идейные потомки теперь также духовно капитулировали перед самодержцем, поскольку он взял на себя руководство священным делом.

Однако сама чрезмерность этих восхвалений несла в себе предзнаменование будущих трудностей. Даже если бы Александр II соединял в себе качества Петра Великого и Авраама Линкольна, он всё равно не смог бы удовлетворить чрезмерные надежды, возложенные на него. Восхваляя царя, радикалы по-прежнему проклинали правительство и общественный строй России. Дихотомия «добрый царь — злые советники», которая якобы характеризовала политическое мышление крестьянина, на мгновение овладела умами самых утончённых людей страны. Но ни один монарх XIX века не мог единолично преобразить русское общество. Как бы решительно царь ни был настроен осуществить освобождение, он всё же не мог игнорировать интересы класса, служившего опорой трона и всей системы. Когда наступит

¹⁸ *Колокол*, 15 февраля 1857.

неизбежное разочарование, в царя увидят не несовершенного реформатора, а предателя национального доверия.

Никому — даже самому радикальному русскому того времени — не приходило в голову настаивать на том, что сторона, наиболее жизненно заинтересованная в освобождении, то есть крестьяне, должна участвовать в подготовке реформы хотя бы в совещательном качестве. Но когда вера в царя рухнет, именно крестьянин станет предметом поклонения радикала и вместилищем его нереалистических надежд.

Александра II восхваляли не только те русские радикалы, которые происходили из дворянства и которых, ввиду их корней в философиях XVIII века, можно было обвинить в анахронической вере в просвещённый абсолютизм. 1850-е годы выдвинули на передний план другую линию русского радикализма — ту, которая прямо приведёт к научному социализму и Ленину. Человеком, стоявшим на пороге этой традиции, был Николай Чернышевский, сын священника, представитель новой группы «разночинцев» — людей из непривилегированных сословий, интеллектуально укоренённых скорее в современных западных социальных и экономических мыслителях, в том числе британских утилитаристах, нежели в немецкой идеалистической философии.

Их радикализм был по природе более активистским, окрашенным чувством личной и классовой враждебности и потому более склонным к насилию, чем философия, воплощённая Герценом. Ослабление цензуры после 1855 года сделало возможным — разумеется, в завуалированной форме — писать о политике внутри России. Поэтому Чернышевский и его группа могли проповедовать свои взгляды в журнале, ставшем ведущим литературно-общественным изданием страны, — «Современнике».

Издаваемый Николаем Некрасовым, выдающимся выразителем прогрессивного направления в русской литературе и самым популярным поэтом своего поколения, «Современник» достиг огромного по тем временам тиража. К 1861 году у него было более семи тысяч подписчиков. Отчасти этот успех объяснялся присутствием на его страницах таких светил, как Иван Тургенев и тогда ещё совсем молодой Лев Толстой. Но всё больше именно длинные и, по современным меркам, тяжеловесные статьи Чернышевского по социальным и философским вопросам заставляли интеллигенцию с нетерпением ждать каждого ежемесячного выпуска.

Он и его последователь Николай Добролюбов, присоединившийся к журналу в 1857 году и подхвативший белинскую традицию использования литературной критики как политического оружия, приобрели огромное влияние, особенно среди молодёжи. Если Герцен ненавидел существующий строй за его несправедливости и коррупцию, то завуалированные нападки Чернышевского и Добролюбова на этот строй вскоре стали распространять более прямолинейное революционное послание: правительство, подобное российскому, не может быть исцелено или реформировано; вследствие своего классового характера оно должно быть уничтожено.

Хотя Чернышевский всё ещё признавал авторитет Герцена среди инакомыслящих, уже в 1858 году он обнаруживал определённые оговорки, если не враждебность, по отношению к старшему, дворянскому поколению радикалов: «Присмотритесь внимательнее к вашему [якобы] космополиту, и он окажется русским со всеми обычными понятиями и привычками народа, к которому принадлежит; более того — дворянином, чиновником или купцом со всеми предрассудками того общественного класса, к которому он принадлежит».¹⁹ Невысказанный вывод, обычно легко расшифровывавшийся читателем, уже привыкшим к подобному эзопову языку, состоял в том, что нельзя ожидать подлинного революционного чувства от такого человека, как Герцен, который был не только самопровозглашённым космополитом, но и дворянином, притом очень богатым.

Публичный намёк императора на решимость освободить крепостных вызвал, однако, у Чернышевского столь же восторженный отклик, как у Герцена. Его статья по этому вопросу, опубликованная в февральском номере «Современника» за 1858 год, начинается библейским обращением, всегда доставлявшим неудобство его коммунистическим почитателям: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал тебя Господь».²⁰ И хотя советские комментаторы довольно неубедительно пытались оправдать этот порыв, утверждая, будто Чернышевский использовал такой приём, чтобы провести статью через цензуру, это, несомненно, опровергается другими местами очерка, например следующим: «Блаженства, обещанные миротворцам и кротким, венчают Александра II счастьем, какого не достигал ни один из государей Европы, — счастьем одному и начать, и завершить освобождение своих подданных».²¹

И вновь — поразительное русское несоответствие: революционер восхваляет самодержца. Но в случае Чернышевского это кажущееся несоответствие, возможно, объяснить легче, чем в случае Герцена. Последний видел в Александре подлинного реформатора, движимого гуманными побуждениями. Чернышевский видел в царе другого Петра Великого — коронованного революционера.

Большинство радикалов старшего поколения, начиная с декабристов, были весьма далеки от восхваления Петра. Для них, как и для славянофилов, он был человеком, уничтожившим древние свободы России, сделавшим крепостное право ещё более тяжким и насильственно втиснувшем страну в бюрократически-милитаристскую форму, ставшую с тех пор её проклятием. Его реформы принесли пользу государству, но едва ли народу. Однако для Чернышевского «блестящие достижения эпохи Петра Великого и колоссальная личность самого Петра подавляют наше воображение».²² Не будет несправедливым утверждать, что Чернышевский, в советской классификации именуемый «великим революционным демократом», восхищался в Петре именно его диктаторским талантом: он не вёл переговоров

¹⁹ Н. Г. Чернышевский, *Сочинения*, V (Москва, 1950), 165.

²⁰ Чернышевский, V, 65.

²¹ Чернышевский, V, 70.

²² Чернышевский, V, 70.

и не играл в политику со своими дворянами; он рубил им головы, если они противились его планам модернизации. В страстных словах славянофила Константина Аксакова: «Государство в лице Петра напало на народ, вторглось в частную жизнь людей, пыталось насильно изменить их вкусы, обычаи, даже одежду... [Сначала было предписано, чтобы] ни один крестьянин не смел появляться в городе, если носит бороду»; и лишь когда крестьяне проявили непреклонность в защите своего традиционного украшения лица, им позволили сохранить бороды при условии уплаты особого налога.²³ При всей грубости обращения Петра с дворянством и при его предпочтении советников из людей низкого происхождения, его едва ли можно считать благодетелем простого народа. Он представлял тот тип революционера, который неоднократно будет появляться в русской истории: враг привилегий, но столь же нетерпеливый и безжалостный, когда речь идёт о народном сопротивлении прогрессу и модернизации.

Насколько непримиримым революционером Чернышевский уже был, когда писал свои панегирики Александру, видно из его полемики с одним из немногих заметных современных публицистов, которого можно отнести к либералам, — Борисом Чичериным. Последний опубликовал книгу, в которой, под видом наблюдений над британской и французской политикой, выступал за умеренность и постепенность в подходе к политическим и социальным проблемам России. Чичерин был решительным противником и крепостного права, и самодержавия. Но он с большой тревогой смотрел на лихорадочное возбуждение и чрезмерные ожидания, в которые погрузилось русское общество, особенно его молодая часть, после крушения старой системы.

Для человека убеждений Чернышевского призывы Чичерина к осторожности были невыносимы, а в публицисте — изменой его предназначению. «Каково должно быть главное качество публициста? Он должен выражать и разъяснять те задачи, которые волнуют его общество в данное время. Не его дело быть беспристрастным учёным. Он должен быть трибуном и пропагандистом». Его полемика язвительна, перемежается личными выпадами против человека, который по большинству существенных вопросов был на его, Чернышевского, стороне и лишь призывал к благоразумию и пониманию, что существующий строй невозможно изменить за одну ночь.

Можно подумать, замечал он с тяжёлым сарказмом, что Чичерин пишет для общества, «которым правят ультрареспубликанцы и где всякого, кто хоть слово пробормочет в пользу монархии, сажают в тюрьму».²⁴ И хотя, казалось бы, он лишь высмеивает своего оппонента, Чернышевскому удаётся провести через цензуру собственное исповедание веры:

²³ Эпизод с бородами показывает насильственный характер петровской европеизации, особенно в восприятии славянофилов. Борода здесь выступает не бытовой деталью, а символом традиционного уклада.

²⁴ Чернышевский, V, 647.

Итак, выходит, будто величайший порок нашего общества состоит в том, что оно слишком резко, бескомпромиссно и страстно выдвигает свои стремления, враждебные существующему порядку... Мы ныне, [как заставляет нас думать Чичерин], заняты беспощадным разрушением этого порядка, и потому долг каждого публициста — наставлять нас, чтобы сохранить какие-нибудь остатки наших традиционных учреждений... Поистине удивительно.²⁵

В действительности именно Чернышевский и намеревался беспощадно разрушить существующий порядок, даже если на данный момент главным инструментом этого разрушения он готов был видеть царя.

Тем более загадочно, как он мог избрать императора на эту роль, поскольку, будучи одним из отцов-основателей того, что позднее станет известно как русский народничество, Чернышевский был решительным врагом бюрократии. Он резко отреагировал на утверждение Чичерина, что демократия, как и самодержавие, ведёт к разрастанию бюрократии и централизации:

Демократия по самой своей природе противоположна бюрократии. Она требует, чтобы каждый гражданин был независим в своих личных делах, а каждая деревня и город, каждый уезд были свободны управлять своими собственными делами. Демократия требует, чтобы администратор был полностью ответственен перед жителями той местности, которой он ведаёт... Демократия означает самоуправление и предполагает федеративное устройство.²⁶

Следовательно, Россия, по-видимому, должна была стать самым рыхлым из всех федеративных государств — добровольным объединением самоуправляющихся единиц вплоть до сельской общины. Это представление противоречит видению благожелательного самодержца, использующего государство для сокрушения привилегий и обособленностей и тем самым учреждающего новое и более справедливое общество. В конце концов, Пётр Великий вовсе не стремился превратить Россию в союз свободных общин; он сделал её самым бюрократическим и централизованным государством Европы.

Но это противоречие присуще всей истории русской революционной мысли. От Пестеля до Ленина её ведущие представители не видели большого несоответствия между, с одной стороны, приверженностью самым широким личным свободам, а с другой — жадной могущественного централизованного государства, которое должно было стать орудием социальной справедливости и прогресса. «Департамент высшего благочиния» Пестеля был поразительным предвосхищением Третьего отделения и последующих органов тайной полиции как в дореволюционной, так и в послереволюционной России. «Вся власть Советам» — таков будет лозунг Ленина; тем самым он, казалось бы, поддерживал почти анархическую систему правления, тогда как созданное им коммунистическое государство станет до тех пор непревзойдённым образцом централизации и бюрократической власти.

²⁵ Чернышевский, V, 649.

²⁶ Чернышевский, V, 653.

Подобно им, Чернышевский пытался преодолеть внутреннюю трудность своей политической философии при помощи фантастического обращения с политической семантикой — и, к собственному удовлетворению, преуспел. Чичерин для своего времени весьма проницательно указывал, что само давление в пользу социальных реформ неизбежно ведёт к централизации и росту бюрократии. Примером служило фабричное законодательство в Англии: недавние законы, запрещавшие отдельные виды промышленного труда женщин и детей, различные санитарные нормы, ограничения рабочего времени и тому подобное. Всё это требовало, чтобы государство вмешивалось в свободу индивида, а также расширяло свой законодательный и административный аппарат и функции.

Нет, говорил Чернышевский, это вовсе не является очевидным доказательством того, что по мере демократизации общества и его стремления к социальным реформам оно неизбежно становится более централизованным и бюрократизированным. То, что Чичерин видел как движение к более сильному государству — то есть его регулирующую деятельность в экономической жизни, — на самом деле есть нечто совершенно иное: социализм. А социализм, поскольку он служит интересам масс, по определению не может вести к тому, чтобы личность становилась менее свободной, а государство и бюрократия — более сильными и вездесущими.

Здесь перед нами предвосхищение той революционной логики, которая позднее позволит апологетам советского государства, даже при Сталине, утверждать, что вопреки всем внешним признакам оно является самым свободным и демократическим обществом в мире. Будучи социалистическим, оно должно было быть таковым.

Демократия, социализм, парламенты, законодательствующие для народа, — теперь всё это можно было обсуждать, пусть и осторожно, на страницах журнала, выходившего в России, тогда как всего несколькими годами ранее одно лишь упоминание подобных предметов, если бы оно каким-то чудом проникло в печать, стоило бы автору многих лет ссылки или тюрьмы. Можно начать понимать, каким опьяняющим должно было быть воздействие статей Чернышевского, особенно на молодёжь, и как читатели могли не замечать нелогичности его доводов и расплывчатости послания, которое они пытались передать.

Ещё не существовало ни революционной организации, ни даже программы, к которой молодой энтузиаст мог бы присоединиться. Родившийся в 1828 году Чернышевский в силу возраста имел гораздо более тесную связь с новым поколением, чем Герцен, которому тогда было за сорок; но в 1858 году он ещё был далёк от прямого призыва к революционному действию. Тем не менее логика его рассуждений безошибочно вела именно в этом направлении: отменить следовало не только крепостное право; должен был измениться весь политический строй, поскольку он был основан на эксплуатации и угнетении. Пока он ещё исключал императора из своей критики. Но его сочинения и сочинения его последователей способствовали изменению настроения радикальной интеллигенции: её первоначальная благодарность режиму за обещание реформ постепенно сменялась чувством, составленным из нетерпения и растущего недоверия.

Один университетский студент того времени, Пантелеев, вскоре ставший заговорщиком, описывает это настроение так:

От известного рес крипта 20 ноября 1857 г. до 19 февраля 1861 г. всего три года и три месяца; но этот сравнительно не длинный срок большинству общества казался чем-то бесконечно долгим; к нетерпению видеть реформу скорее законченной присоединялся вечный страх за ее судьбу, боязнь, чтобы силы, враждебные ей, не взяли верх.... Ужас бесправного положения двадцати миллионов людей был у всех перед глазами, и был тем сильнее, что русское общество перед тем его почти не замечало. Конечно, все люди либеральных взглядов, даже последователи школы *laissez faire, laissez passer*, считали необходимым, чтобы реформа дала и экономическую обеспеченность освобожденным крестьянам; но возвращение личности ее человеческих прав — вот что прежде всего привлекло к крестьянской реформе такой интерес со стороны общества, равно которому оно ни ранее, ни позднее не проявляло ни к одному делу... .. Надо еще перенестись в ту эпоху; русское общество, до того времени знавшее только такой порядок жизни, где ни о какой самостоятельности и речи не могло быть, в одном слове «свобода» видело уже тот чарующий и целительный бальзам, перед которым не могла устоять никакая болезнь.²⁷

И эти чувства, добавляет Пантелеев, волновали всех студентов — и сыновей князей, и тех, кто происходил из самых низших социальных слоёв.

Свобода и освобождение — слова весьма многозначительные. Подобно тому как в Америке 1950–1960-х годов движение за гражданские права чернокожих вызвало освободительные движения среди других социальных и этнических групп, так и в России столетием раньше эти слова породили сходные отголоски. До 1855 года каждый общественный институт, вплоть до семьи и начальной школы, отражал авторитарный образец целого; теперь же, когда самодержавие ослабляло свою хватку над общественной жизнью, подобное преобразование происходило на каждом уровне.

Права женщин, автономия университетов, большая свобода для студентов — всё это становилось модными делами. В Царстве Польском набирала силу националистическая агитация. Заговорили об эмансипации евреев. Внезапно у передовой части общества возникло сильное стремление заново пересмотреть и перестроить всякую форму власти и обязательства. При том что здание самодержавия всё ещё оставалось неповреждённым, а общество сохраняло свои традиционные формы, значительная часть психологической опоры старого порядка уже рухнула. За три коротких года образованный класс освободился от того страха и благоговения перед властью, которые на протяжении целого поколения удерживали Россию запечатанной от революционных волнений, вспыхивавших по всему континенту.

²⁷ Л. Ф. Пантелеев, *Воспоминания* (Москва, 1958), с. 166.

Главным элементом общественной сплочённости оставалась теперь личная популярность императора. Но переживёт ли она почти неизбежное разочарование, когда будут объявлены реальные подробности закона об освобождении?

Опасения правительства касались не столько состояния умов интеллигенции, сколько настроений двух классов, непосредственно затронутых предполагаемой реформой: помещиков и крестьян.

Даже если бы Александр был наделён всеми деспотическими инстинктами и умениями Петра Великого, ему всё равно пришлось бы считаться с мнением помещиков. Прежде всего, он был глубоко консервативен и не желал, чтобы социальная революция превратилась в экономическую. Но для проведения реформы в жизнь было необходимо определённое сотрудничество дворянства.

Потребовалось бы значительное число посредников, которые должны были рассматривать взаимные притязания крестьян и их бывших владельцев. На первый взгляд кажется странным, что эти мировые посредники, как их называли, должны были избираться из того самого сословия, которое являлось заинтересованной стороной. Но Россия XIX века не располагала достаточно многочисленным и компетентным корпусом администраторов, способных выполнить эту необходимую функцию. Даже самый прокрестьянски настроенный сторонник реформы признавал, что, по крайней мере на некоторое время, помещик должен сохранить некоторую остаточную власть над своими бывшими крепостными.

После столетий рабства крестьян — как по отдельности, так и в общине — нельзя было внезапно и полностью оставить без всякой помощи; к тому же не было достаточно чиновников, чтобы наблюдать за каждой деревней и каждым селением в огромной стране. Надеялись, что достаточное число помещиков сумеет подняться над своими классовыми интересами и принять правительственный замысел: помочь освобождённым крестьянам устроиться и сохранить сельское хозяйство в рабочем состоянии.

Поэтому царь считал необходимым умиротворить помещиков, одновременно постоянно напоминая им о роковых последствиях чрезмерных задержек и препятствий. Обращаясь 21 февраля к дворянской депутации, он подчеркнул обе эти мысли:

Закон не должен быть простой декларацией добрых намерений. Он должен привести к действительным улучшениям в том, что касается образа жизни и труда крестьянина. Это будет означать потрясение, но это потрясение не должно повлечь за собой насилия и беспорядков, если помещики принесут настоящие жертвы. Я не хочу, чтобы эти жертвы были слишком обременительными. ... Ходили слухи, будто я больше не доверяю дворянству. ... Это ложь и клевета. ... Я надеюсь, что вы делами докажете: моё доверие к вам не было напрасным.²⁸

²⁸ Татищев, I, с. 369.

Реакцию дворян можно было предвидеть, и с ними можно было соответственно маневрировать. Но никто не знал наверняка, как поведут себя крестьяне, когда наступит великий день; не подействует ли само слово «свобода» на них, как искра в пороховом складе. Никто не знал, что они почувствуют и что сделают, когда им объяснят сложные технические подробности закона: что должен существовать переходный период, прежде чем власть помещика над ними прекратится; что ряд обязательств перед бывшими господами должен сохраняться в течение многих лет; что в некоторых случаях они получают меньше земли, чем обрабатывали в крепостном состоянии; что им придётся нести тяжёлое финансовое бремя.

Это был прыжок в неизвестность. Он мог вывести Россию на путь процветания и современности — или же вызвать крестьянские восстания, подобные пугачёвскому бунту прошлого века.

То, что для властей было мрачной возможностью — крестьянские восстания, — для людей левого направления начинало вырисовываться как соблазнительная перспектива. 1 марта 1860 года «Колокол» напечатал анонимное письмо из России в ответ на ранее опубликованную передовую статью Герцена. Автор письма остаётся неизвестным, но есть серьёзные основания полагать, что им был либо Добролюбов, либо Чернышевский. Если это был последний, то он, несомненно, далеко отошёл от своего призыва двухлетней давности к царю следовать по стопам Петра Великого. Ибо письмо представляет собой бескомпромиссную атаку не только на самодержавие, но и на личность самого самодержца. Александр II обманывал нацию. Как мог Герцен продолжать кадить перед ним фимиам, обращаясь с открытыми письмами к императрице о том, как следует воспитывать наследника престола, и тому подобное, когда именно царская власть была главной причиной бедствий России? На Герцене лежала огромная ответственность:

“В далёкой Англии вы первым возвысили голос в защиту страдающего русского народа, раздавленного царём; вы показали России, что такое свободное слово. Всё живое и честное в обществе приветствовало вас с радостью и восхищением”.

Как же он мог не разоблачать бессодержательность раболепного поклонения царю — этого главного источника народных страданий? Очевидно, Герцен не вполне понимал, что происходит на родине, и прислушивался к басням, передаваемым ему «либеральными писателями, помещиками и профессорами» о якобы благожелательных намерениях правительства. [Слово **liberal** теперь начинало использоваться радикалами как общий термин для всех тех, кто верил в возможность мирных, постепенных реформ; левые и впредь будут употреблять его как уничижительное обозначение.]

Истина же состояла в том, что народ — крестьяне — пресытился правительственными обещаниями и верил, что освобождение окажется обманом:

Нет, наше положение отчаянно и невыносимо. Только топор может спасти нас, и ничто другое. ... Призывайте Россию взяться за топор. Помните, что на протяжении сотен лет вера в добрые

намерения царя губила Россию; не таким людям, как вы, следует пытаться продлевать подобные иллюзии.

Это письмо можно считать первым предвестником революционного движения 1860-х годов. В этом качестве оно является красноречивым свидетельством той стихийной жажды революции, которая будет вдохновлять это движение. Здесь ещё нет политической программы, нет конкретного представления о том, что должно прийти на смену старому порядку после того, как топор сделает своё дело. Столь же характерно презрение автора к умеренности и ко всем тем либералам, которые проповедовали «осторожность, постепенный прогресс и Бог знает что ещё», пока народ страдал. Если массы поднимутся, они могут уничтожить не только режим, но и либералов; и это, по мнению автора, было бы не так уж плохо:

Зачем жалеть этих франтов в жёлтых перчатках, болтающих о демократии в Америке, но неспособных что-либо сделать у себя дома, этих денди, исполненных презрения к простому человеку и убеждённых, что с русским народом ничего нельзя сделать?²⁹

И всё же автор сохранял известную двойственность по отношению к либералам — здесь это слово выступает синонимом умеренной части интеллигенции. Он признавал, что задача свержения режима была бы выполнена более целенаправленно и легко, если бы некоторые из этих либеральных профессоров и помещиков приложили к ней руку и обеспечили руководство революционными массами.

Подобно декабристам, новый тип революционера также обнаруживал в себе нечто элитарное. Крестьяне были бы вполне правы, если бы поднялись и смели всю гнилую систему; но для создания новой и справедливой системы им требовалось руководство образованного класса. Эта идея направляемой стихийности — вера в то, что революционный потенциал всегда присутствует в народных массах, но для успешной революции массам необходимо дать направление и руководство, которое может обеспечить только элита профессиональных заговорщиков, — будет играть всё более важную роль в русской радикальной мысли, достигнув кульминации у Ленина и большевиков.

«Русский из провинции», как назвал себя анонимный корреспондент, затронул и другую тему, которую прямо сформулирует создатель большевистской революции после начала Первой мировой войны: поражение России от внешнего врага может обернуться победой для её народа. Он оспаривал утверждение Герцена, будто Крымская война вызвала подъём патриотического чувства в нации. Герцен тогда находился за границей и потому не мог знать того, что видел и слышал его корреспондент:

Когда англичане и французы высадились в Крыму, народ ожидал, что они помогут освободить его: крестьян — от помещичьего ига, старообрядцев — от религиозных гонений, от которых они страдали.

²⁹ Колокол, 1 марта 1860.

Помимо того, что это утверждение явно не соответствовало действительности, оно представляет собой первое появление антинационалистического мотива в русской мысли. И поскольку эту тему подхватят последующие поколения русских революционеров и реформаторов, она вплоть до самого дня революции будет оставаться величайшим препятствием на пути их стремлений и величайшим источником силы для их противников — защитников самодержавного порядка.

Ответ Герцена на это язвительное заявление обнажает другую слабость радикального лагеря, которая сохранится до 25 октября 1917 года. Те его представители, кто надеялся на ненасильственное решение социальных и политических проблем России, всегда оказывались в оборонительном положении и начинали сомневаться в себе, когда подвергались нападкам слева.

Человек глубоких гуманитарных побуждений и одновременно революционных убеждений, Герцен не мог заставить себя прямо осудить призыв к насилию. Он оправдывался за свои похвалы Александру II:

...спрашиваю вас: разве я был совершенно неправ? Кто в последнее время сделал что-нибудь полезное для России, кроме монарха? Кесарю — кесарево.

Он не мог поддержать призыв к кровопролитию:

Кровь, пролитая во время Июньской революции [во Франции], потрясла мой ум и нервы, и с тех пор я испытываю отвращение к кровопролитию, если оно не является совершенно необходимым.

Он признаёт, что такая необходимость может возникнуть, но говорит:

Призвав к топору, надо уметь управлять [революционным] движением; надо иметь организацию и план, быть готовым к жертвам не только тогда, когда размахиваешь топором, но и тогда, когда придётся схватиться за его острое лезвие, если топор начнёт бить слишком широко. Есть ли у вас всё это?³⁰

И всё же через несколько лет Герцен будет готов отказаться от своих сомнений и предоставить свой авторитет и поддержку тем, кто призовет к насильственному восстанию.

Среди молодого поколения уже несомненно происходило брожение. Не обременённый воспоминаниями и осторожностью старших, русский студент — будь то студент университета, военной или духовной академии, даже гимназист — теперь выступил на политическую сцену и до конца века будет оставаться её наиболее склонным к революции действующим лицом, пока в этой роли его не сменит промышленный рабочий.

³⁰ Колокол, 1 марта 1860.

Нигде частичная либерализация авторитарного режима не имела столь далеко идущих последствий, как среди молодёжи. Она почти неизбежно радикализировала её и порождала дух скепсиса и отчуждения от существующей политической системы. Ни одна область русской жизни не претерпела между 1855 и 1860 годами таких перемен, как образование. Число студентов в высших учебных заведениях выросло более чем втрое. Вместе с количественным произошло и социальное изменение: значительно увеличился приток юношей из низших сословий; евреям теперь было разрешено поступать в учебные заведения; а начиная с 1860 года в аудиториях появились женщины, пока ещё только в качестве слушательниц.

Строгая дисциплина и надзор над учебными заведениями николаевской эпохи уступили место гораздо более снисходительному отношению властей. Студенты больше не были обязаны носить форму; беднейшие из них освобождались от платы за обучение. Профессорам, хотя им по-прежнему следовало вести себя осмотрительно, уже не приходилось опасаться, что одно лишь упоминание политики или социальных вопросов грозит немедленным увольнением, если не чем-то худшим.

Там, где местный попечитель университета — назначавшийся правительством извне профессорской корпорации — был особенно снисходителен, студенты пользовались свободами, ещё недоступными их старшим. Они могли создавать собственные объединения, библиотеки, собирать средства для неимущих товарищей, пользоваться фактическим самоуправлением. Внутри всё ещё полицейского государства университеты, а в некоторой степени даже духовные и военные академии, становились маленькими анклавами интеллектуальной свободы.

Поэтому неудивительно, что обсуждения, за которые ещё несколькими годами ранее участники кружка Петрашевского получали годы каторги в Сибири, теперь почти открыто и безнаказанно велись на различных собраниях молодёжи. Определённый риск в такой деятельности сохранялся, но ровно настолько, чтобы делать её ещё более увлекательной.

В 1856 году некоторые студенты Харьковского и Киевского университетов организовали кружки, участники которых сравнивали и распространяли пародии на императорские манифесты, а также листовки, воспроизводившие более радикальные темы из передовых статей Герцена в «Колоколе». Когда в 1860 году их деятельность наконец попала в поле зрения полиции, виновных наказали — конечно, по сравнению с тем, что случилось бы с ними в предыдущее царствование, — довольно мягко. Хотя они были исключены, им разрешили поселиться в других городах Европейской России. А профессор, которого власти считали одним из вдохновителей подобных шалостей, был всего лишь вынужден обменять свою кафедру в Киеве на кафедру в Петербурге, что фактически означало повышение.

Благодарность не является заметной чертой молодости, и, разумеется, хотя студенты университетов были свободнее своих сограждан, они всё ещё оставались подчинены докучливым правилам. Довод, что всё стало гораздо лучше, чем прежде, не мог быть для них столь же убедителен, как для старших. То, что они несколько тайно читали в «Колоколе» и

совершенно открыто — в «Современнике», неизбежно должно было оказывать мощное воздействие на умы молодёжи.

Если человек, подобный «русскому из провинции», отчаивался в образованном обществе в целом и испытывал отвращение к его всё ещё поклонническому отношению к императору и готовности с благодарностью принять всё, что режим принесёт под видом крестьянского освобождения, то, глядя на молодёжь, он должен был приободряться. В ней было мало того благоговения перед властью и почтения к престолу, от которых даже весьма радикально настроенным представителям старшего поколения так трудно было избавиться. Поэтому надеялись, что крестьянские волнения приведут к революции, а студенты превратят то, что можно было бы назвать случайным радикализмом молодости, в революционную деятельность.

Теперь наступало время проверки всех подобных предположений и сценариев. 19 февраля 1861 года император подписал Манифест об освобождении. Как и должно было быть, закон был чрезвычайно сложен; его технические подробности трудно было понять даже образованному человеку, не говоря уже о неграмотном крестьянине. И, что было почти столь же неизбежно, он не удовлетворил полностью ни радикала, ни консерватора.

Последний должен был чувствовать, что закон санкционирует грубое нарушение права собственности. Крепостные были освобождены без того, чтобы правительство возместило помещикам их утрату. Режим также решил, что крестьяне должны быть связаны с бывшими господами особыми и сложными соглашениями и получить землю вместе с личной свободой. За эту землю государство должно было выплатить помещикам компенсацию процентными облигациями, а крестьяне, в свою очередь, должны были возмещать казне эти расходы. Выплаты растягивались на сорок девять лет: крестьянин-покупатель ежегодно платил 6 процентов цены своего надела.

Помимо этого тяжёлого бремени, возложенного на сельские массы, радикального критика должна была возмущать и другая особенность закона. Многие крестьянские наделы должны были оказаться меньше тех участков, которые они обрабатывали для себя в крепостном состоянии. Особенно это было характерно для плодородного юга, где помещики считали земледелие прибыльным, а правительство умиротворяло их за потерю бесплатного труда, увеличивая их долю земли за счёт бывших крепостных.

Другим важнейшим положением закона было сохранение общинной системы землевладения. В собственно России и в самой восточной части Украины крестьянская земля традиционно объединялась — если не считать крепостного права, можно почти сказать, «принадлежала» — всей сельской общине, а не отдельным хозяйствам. Именно сельский сход, мир — слово, которое в русском языке знаменательно означает также «покой» и «вселенную», — помимо прочих своих функций, периодически перераспределял землю между крестьянскими семьями в соответствии с их численностью и нуждами.

Наиболее передовые западники давно считали эту общинную систему собственности столь же анахроничной, как и само крепостное право. Для них она означала тормоз социальной

мобильности и экономического прогресса, поскольку обычно действовала в ущерб более эффективным производителям; её сохранение после освобождения должно было задержать создание сельского среднего класса. Но мир был дорог славянофилам, которые видели в нём основу социальной гармонии и выражение внутренне демократического духа русского народа. А для тех, кто, подобно Герцену, верил в социализм, община воплощала не только мудрость веков и уравнивательные инстинкты масс, но и предохранение от того, чтобы Россия обзавелась многочисленным промышленным пролетариатом и стала жертвой прочих зол капитализма.

Однако причины, по которым правительство сохранило общинную систему, основывались не на её предполагаемой древности и не на её столь же сомнительных демократических и социалистических достоинствах. При всех потрясениях, которым предстояло произойти в деревне, община была самым удобным способом обеспечить выполнение крестьянами финансовых, военных и иных повинностей.

Закон должен был вступать в силу в несколько этапов. Предусматривался двухлетний переходный период, в течение которого новые экономические отношения должны были быть оформлены соглашениями между бывшими крепостными и помещиками при помощи посредников, избранных из числа последних. Помещик не обязан был продавать землю; но тогда крестьянин становился её арендатором, связанным со своим бывшим господином договором, определявшим арендную плату или иные повинности. Справедливо ожидалось, что большинство помещиков будут стремиться продать землю, поскольку теперь они уже не могли понуждать крестьян к выполнению обязанностей кнутом.

Затем следовал семилетний период, лишь по окончании которого крестьянин, если он был недоволен своим положением, получал свободу покинуть деревню и искать счастья в другом месте. Таким образом, хотя во всех прочих отношениях он становился лично свободным сразу после обнародования закона, деревенский житель всё ещё оставался прикрепленным к земле на девять лет.

Но то, что было написано мелким шрифтом, должно было приобрести значение немного позднее. Непосредственная реакция образованных русских на манифест была исполнена глубокой благодарности. Встречаясь на улице, знакомые приветствовали друг друга традиционным пасхальным приветствием и ответом: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — и обнимались.

А в Лондоне человек, бывший агностиком и республиканцем, почувствовал, что радость от события преодолевает его прежние сомнения в отношении императора. «Александр II сделал много, очень много; его имя уже стоит выше имени любого из его предшественников», — писал Герцен в «Колоколе» 1 апреля 1861 года. Он восхвалял не только «Царя-Освободителя», но и его брата, великого князя Константина, которому приписывали большую роль в разгроме последних усилий реакционной части дворянства заблокировать действенную реформу.

Для одной группы это событие имело особое значение: престарелые оставшиеся в живых декабристы приветствовали манифест как исполнение своих мечтаний и оправдание юношеских устремлений.

Пока общество рукоплескало, правительство серьёзно опасалось реакции народа: воспримут ли в основном неграмотные массы манифест как благодеяние или возмутятся всеми «но» и «ещё не», сопровождавшими их свободу. Хотя закон был подписан 19 февраля, его всероссийское обнародование предусмотрительно отложили до 5 марта, пришедшегося на время Великого поста; тем самым сводилась к минимуму вероятность того, что крестьяне встретят его — от радости или от разочарования — величайшим алкогольным взрывом в истории России.

В течение марта императорский манифест зачитывали перед сельскими сходами. Он действительно вызвал немало крестьянских волнений, поскольку многие крепостные не могли понять, почему, если они освобождены, они должны ещё два года, как прежде, исполнять обязанности перед бывшими господами. Ходили слухи, что вскоре царь дарует своим крестьянским подданным вторую, «настоящую» свободу или что помещики и чиновники обманывают народ относительно его благих намерений.

Но хотя беспорядки были широко распространены, они были далеки от масштабов чего-либо, напоминающего общенациональное восстание. Там, где они происходили, сопротивление крестьян носило пассивный характер: отказ продолжать работу на помещика, демонстрации с выступлениями ораторов, требовавших от чиновников предъявить настоящую царскую грамоту о свободе, и тому подобное.

Именно при попытке разогнать одну такую демонстрацию безответственный офицер приказал войскам открыть огонь по безоружной толпе в селе Бездна, что привело к более чем ста жертвам. В других местах непокорных крестьян усмиряли кнутом и тюремными заключениями. Но, несмотря на эти жестокие меры, русский народ не попытался «взяться за топор». Подозревая помещиков и чиновников, крестьяне сохраняли веру в царя, и постепенно до масс доходило, что император хочет их повиновения и что никакой так называемой второй свободы не будет.

Крестьянин принял своё новое положение — не с восторгом, но, несомненно, как улучшение по сравнению с прошлым. По духу сельская Россия всё ещё могла принадлежать XVI веку, что хорошо иллюстрирует типичное увещание царя, обращённое к группе крестьянских старост:

Приветствую вас, дети. ... Я даровал вам свободу, но помните хорошо: это свобода по закону, а не право быть непослушными. Поэтому прежде всего я требую от вас повиновения властям, которые я сам установил. Вы должны добросовестно исполнять свои обязанности. Я желаю, чтобы там, где соглашения [между крестьянами и помещиками] ещё не достигнуты, они были заключены без промедления к назначенному мною сроку. После того как они будут заключены... не ожидайте никакой новой свободы или дальнейших уступок. Слышите ли вы меня? Не слушайте никаких слухов и того, в

чём другие могут пытаться вас убедить. Верьте только тому, что я сказал вам. А теперь идите с миром. Бог с вами.³¹

Сам факт, что такие речи были действенны, свидетельствует, насколько безнадёжной была попытка обратить сельские массы против царя. Ещё более обескураживающей для радикала должна была быть реакция городского пролетариата на освобождение: его корни всё ещё уходили в деревню, а многие рабочие-крепостные были фактически прикреплены к промышленному труду. И в Петербурге, и в Москве прошли массовые демонстрации в честь государя; и хотя многие подозревали за ними незаметную руку полиции, факт остаётся фактом: городские массы до самого конца царствования Александра будут сохранять лояльность и враждебность ко всему, что отдаёт революционной пропагандой.

Перед лицом таких, с их точки зрения, малообещающих настроений будущие революционеры не желали падать духом. Их оптимизм основывался на двух предпосылках: одна в значительной мере окажется ошибочной, другая — во многом оправданной.

Первая исходила из убеждения, что согласие крестьян с их крайне несовершенной свободой основано на невежестве и не выдержит испытания временем. Несомненно, к 1863 году, когда земельные соглашения вступят в силу, сельские массы поймут, что их обманули, что прославленное Освобождение возложило на них более тяжёлое экономическое бремя и одновременно во многих случаях дало им меньше земли, чем они имели в крепостном состоянии. Возможно, Россия поднимет топор весной 1863 года.

Другая предпосылка революционного оптимизма была сложнее и одновременно весьма пронизательна: союз между режимом и интеллигенцией по самой своей природе был временным. Он основывался на вере образованных русских в то, что пока император работает ради реформы — как бы несовершенна ни была её концепция, — выступать против него означало бы играть на руку реакции. Но теперь, когда общая цель была достигнута, интеллигенция, чьё мировоззрение формировалось репрессиями и унижениями, пережитыми интеллектуальным сообществом за тридцать лет до 1855 года, должна была вернуться к своей естественной позе — инакомыслию. Благодарность — редкий товар в политике.

То, чего образованные русские на самом деле желали в качестве дальнейших реформ, было несовместимо с самодержавной природой системы. Для людей вроде «русского из провинции» только революция могла очистить нацию. Само смирение, с которым массы приняли своё мнимое освобождение, показывало, насколько необходима насильственная встряска, чтобы вывести народ из рабского оцепенения. Нельзя было спокойно жить в обществе, где миллионы принимают крохи свободы вместо того, чтобы требовать настоящей свободы, и где им кажется вполне естественным, что глава государства обращается ко взрослым мужчинам словами «дети».

³¹ Татищев, I, с. 407

Он был уверен, что после внесения мнимого освобождения в свод законов молодёжь станет ещё более радикальной, а русское общество вернётся к тому глубокому чувству стыда и унижения, которое оно испытывало в последние годы царствования Николая. Тогда это чувство сопровождалось ощущением бессилия; теперь же, когда само правительство разрушило основание старого порядка, общественная ярость уже не будет подавлена страхом.

В том, что касалось молодёжи, это была верная психология. И старшее поколение радикалов вскоре оказалось готово ударить в революционный набат. Через шесть недель после того, как Герцен приветствовал Александра как Царя-Освободителя, в «Колоколе» от 15 июня Огарёв взял совершенно иной тон:

Закон об освобождении написан для чиновников. ... Он написан для грабителей, а не для ограбленных. ... Крестьяне не освобождены. ... Старое крепостничество уступило место новому; в сущности, крепостное право не уничтожено. Народ обманут царём.

В апреле 1861 года Михаил Шелгунов, тридцатисемилетний чиновник Министерства государственных имуществ, а в свободное время радикальный журналист — фигура бюрократа-революционера по совместительству в те дни не была слишком редкой, — с помощью своего друга, поэта Михаила Михайлова, написал зажигательную политическую брошюру. Напечатанная в лондонской Вольной русской типографии Герцена, примерно шестьсот её экземпляров попали в Россию в июле, а в сентябре распространялись как по почте, так и из рук в руки.

Под названием «К молодому поколению» она стала одним из первых революционных воззваний, появившихся в крупных русских городах в ходе того, что в ближайшие два года превратится в настоящий поток подпольных антиправительственных листовок. «К молодому поколению» было, вероятно, самым длинным из этих воззваний и наиболее показательным для образа мыслей тех радикалов, которые теперь были готовы ошупью идти к заговору с целью свержения режима.

Знаменательно, что оно начиналось цитатой из революционных стихов Рылеева. Затем авторы объясняли, почему момент благоприятен для революции:

Режим не понял, что, уничтожив крепостное право, он подорвал императорскую систему. Император был силён лишь до тех пор и лишь постольку, поскольку мог опираться на помещиков. ... Лишившись своей социальной и политической основы, императорский режим будет пытаться умиротворить растущее недовольство временными уступками, но в действительности ему нет дела до народа: ... ради собственных интересов он готов погубить будущее всей страны. Нескольким сотням негодяев нет никакого дела до счастья шестидесяти миллионов!

И потому авторы обращали свой призыв к молодым:

Только в вас мы видим людей, готовых пожертвовать своими интересами ради блага страны. ... Мы считаем вас единственными, кто может спасти Россию. Вы — её настоящая сила, вы — естественные

вожди нации. Именно вы должны объяснить народу и армии зло и вред, причиняемые нам властью императора.

Крестьянская реформа, как утверждала листовка, разумеется, была обманом:

Провозглашая её, царь показал своё презрение ко всей нации и к её наиболее передовому элементу, то есть к самой образованной, самой честной и способной части русского общества, к национальной партии. Всё дело было совершено в глубочайшей тайне. Реформа была решена царём и помещиками. Народ не имел в ней никакого участия, прессе не позволялось и слова сказать на эту тему. Царь дал народу эту [мнимую] свободу так, как бросают кость раздражённой собаке, чтобы отвлечь её и чтобы она не укусила.³²

Разумеется, как и в большинстве революционной пропаганды, здесь имелись определённые противоречия и вольное обращение с фактами. По словам авторов, Освобождение было обманом, но в другом месте они утверждали, что, приняв манифест, режим прозвонил по самому себе погребальный колокол. Кроме того, было более чем сомнительно, существовала ли вообще та «национальная партия», о которой говорило воззвание, и действительно ли она включала в себя лучшее в обществе — молодую интеллигенцию. Более того, было просто неверно утверждать, что подготовка закона об освобождении проходила в полной тайне и что пресса не могла писать о нём.

Когда дело доходило до «поднятия топора», авторы были совершенно прямолинейны:

Мы не поколеблемся, если для достижения наших целей и распределения земли между крестьянами окажется необходимым перерезать горло ста тысячам помещиков.

В любом случае, по их мнению, землевладельческое дворянство было паразитическим сословием, и России было бы лучше без него.

Хотя «К молодому поколению» недвусмысленно говорит о необходимости свержения режима, оно не предлагает никаких конкретных соображений о том, какой тип правительства должна иметь Россия после революции. В одном его авторы уверены: её политическая система не должна подражать Европе.

Мы — отсталая нация, и в этом наше спасение. Мы должны благословлять судьбу за то, что не прожили жизнь Европы. ... Почему Россия не может создать нечто совершенно новое, нечто неизвестное даже Америке? Мы не только можем, но и должны. В нашей национальной жизни есть элементы, совершенно неизвестные западноевропейцам.

Главным элементом этой предполагаемой самобытности русской национальной жизни была, конечно, крестьянская община. В новой России не должно быть частных собственников земли. Каждый гражданин — и здесь налицо несомненный вариант идеи Пестеля, хотя автор не мог

³² Текст прокламации см. в: Михаил Лемке, *Политические процессы в России 1860-х годов* (Москва, 1923), с. 62–80.

быть знаком с его «Русской правдой» — должен быть приписан к одной из сельских общин и иметь долю в земле, находящейся в её коллективном владении.

Но, кроме этого и помимо заявления, что правительство должно быть выборным и ограниченным, воззвание было крайне неопределённым в вопросе о государственном устройстве послереволюционной России. При всей ненависти к наследственной монархии не было ясно, исчезнет ли она, поскольку встречается загадочное требование: «Мы требуем, чтобы расходы императорской фамилии были сокращены».

Их формула революции была довольно проста. Когда народ поднимется, а режим пойдёт против крестьян войска, армия должна обратить оружие против угнетателей, а не против своих братьев. Пусть «национальная партия», теперь определяемая как «молодое поколение всех сословий», ведёт агитацию среди крестьян и солдат и убеждает их, как легко было бы свергнуть установленный порядок:

Нас миллионы против нескольких сотен негодяев.

Пусть молодые создают тайные кружки для подготовки борьбы и, если понадобится, умирают за дело так же, как их предшественники 14 декабря 1825 года.

К тому времени, когда «К молодому поколению» начало распространяться в Петербурге и Москве, среди молодой интеллигенции и студентов уже ходили из рук в руки другие нелегальные листовки. Большинство из них действительно были делом небольших тайных кружков и печатались в России; где и кем — в некоторых случаях так и не было установлено. Издание под названием «Великорус» вышло тремя отдельными выпусками между июлем и сентябрём 1861 года. Хотя его тон в целом был более умеренным, чем у «К молодому поколению», с точки зрения властей «Великорус» должен был быть ещё более тревожным.

Его первый выпуск развивал уже знакомую тему: Освобождение является обманом, если его не исправить, и приведёт к широкому крестьянскому восстанию. Общество должно само взять на себя задачу реформы, поскольку правительство «ничего не понимает, будучи тупым и невежественным».³³ Если образованные классы окажутся бессильными, тогда патриоты будут вынуждены призвать народ к восстанию со всеми печальными последствиями, которые должны за этим последовать.

Вторая листовка уточняла некоторые детали этого анализа: крестьяне в настоящее время разделены на две группы. Одни были бы довольны, если бы получили землю, которую обрабатывали в крепостном состоянии, и были бы освобождены от необходимости платить за неё и от прочих обязательств. В противоположность этому умеренному элементу другая группа хотела не только своих наделов, но и земли, принадлежавшей помещикам, то есть полного экспроприирования последних.

³³ Текст *Великорусса*, № 1–3, см. в: Михаил Лемке, *Очерки по истории русского освободительного движения 1860-х годов* (Москва, 1908), с. 359–368.

Это разделение среди крестьян воспроизводилось и среди патриотов. Одни хотели сохранить наследственную монархию при условии, что она станет конституционной, предоставит представительные учреждения и полную гражданскую свободу. Другие требовали свержения системы и республики — «лёгкой задачи ввиду разочарования крестьян, недовольства помещиков, утраты иллюзий образованным классом и финансового банкротства [Государства]».

Комитет, ответственный за «Великоруса», был готов дать императору шанс: пусть он созовёт народных представителей для принятия конституции. Если он откажется — он должен уйти!

Эти две черты — горстка людей, заявляющая, что говорит от имени якобы широкого движения, и призыв к императору созвать учредительное собрание — станут довольно обычными для революционных организаций на протяжении остальной части века.

То, что делает «Великоруса» довольно уникальным в революционной литературе от эпохи декабристов до Ленина, — это его позиция по национальному вопросу. Он требует безусловного освобождения Польши, чего даже Пестель не был готов допустить:

Наше владычество над Польшей поддерживается только вооружённой силой.

Это ведёт к разорительным расходам на армию; но прежде всего это безнравственно и покрывает Россию бесчестьем в глазах Европы.

Поляки не удовлетворятся ничем меньшим, чем полной независимостью. ... И наша собственная национальная гордость, любовь к нашему народу и финансовые соображения также требуют этого.

В то время были и другие русские — не только среди радикалов, — сочувствовавшие польскому делу. Но затем анонимные авторы заняли позицию, которую ни один другой русский противник имперской системы, будь то царской или советской, — даже Ленин и, в наши дни, Солженицын — не согласился бы поддержать без всяких «но» и «если»: они готовы были предоставить независимость Украине.

Населению южной России [следует] дать полную свободу распоряжаться своей судьбой по собственной воле. ... Если оно захочет полностью отделиться, пусть будет так. ... Мы, великороссы, достаточно сильны, чтобы жить сами по себе. Гордясь нашей мощью, мы не нуждаемся в том, чтобы бесчестно искать искусственного величия, удерживая силой в составе нашего государства другие цивилизованные народы.

К осени 1861 года кампания подпольных листовок была в полном разгаре. Позднее, описывая одного второстепенного персонажа в «Бесах», Достоевский вспоминал такую сцену:

В молодости через его руки проходили целые пачки «Колокола» и прокламаций, и хотя он боялся даже открыть их, он счёл бы совершенно низким отказаться распространять их.³⁴

³⁴ Ф. Достоевский, *Бесы* (Париж, 1969), с. 416.

Большинство революционных прокламаций повторяло знакомые темы: обманый характер закона об освобождении, близость крестьянского восстания, необходимость превращения России в конституционное государство и/или республику. Наиболее крайняя эскалация революционной риторики была достигнута в кровавой листовке, выпущенной весной 1862 года организацией, пышно именовавшей себя Центральным революционным комитетом, а в действительности представлявшей собой группу из четырёх молодых студентов. Под названием «Молодая Россия» она была написана девятнадцатилетним Петром Заичневским.

Она содержала уничтожающую критику всех прежних и современных рецептов политических перемен. Они объявлялись трусливыми и недостаточными по сравнению с тем, что действительно требовалось. Вместо них «Молодая Россия» предлагала одно решение: революцию.

Кровавую и беспощадную революцию, которая должна решительно изменить все существующие общественные учреждения и уничтожить сторонников нынешнего порядка.

Само собой разумеется, целью революции должна была стать социалистическая и республиканская Россия с общинным владением всеми средствами производства. Но революция должна была также уничтожить брак — «учреждение глубоко безнравственное, противоречащее принципу равенства полов», — и семью, «которая является препятствием для развития человечества». Разумеется, подлежали уничтожению также церкви, монастыри — «эти притоны разврата, убежища всякого рода бездельников и паразитов».³⁵

Оглядываясь назад, ясно — хотя это не могло быть ясно имперским властям, потрясённым и сбитым с толку внезапным взрывом анонимной подрывной литературы, — что большая часть листовочной кампании представляла собой скорее моду, революционное возбуждение среди молодёжи, чем серьёзную заговорщическую деятельность.

Как декабристы на раннем этапе, так и эти молодые люди в значительной мере плели свои заговоры от «скуки, их молодые умы томились от бездействия. Будучи взрослыми людьми, они, подобно подросткам, погрузились в безумные игры». За воспалённой риторикой легко различить чувство разочарования: ожидаемое широкое крестьянское восстание не состоялось, а вера крестьян в царя стояла железной преградой между Россией и революцией. Эти грандиозные замыслы широкой агитации среди крестьян и солдат пока оставались на бумаге.

И всё же эти симптомы революционного возбуждения среди молодёжи неизбежно должны были радикализировать старшее поколение интеллигенции и заставить его стыдиться первоначального восторга по поводу Освобождения. Насколько они имели серьёзное содержание, некоторые прокламации развивали темы, дорогие вождям радикального дела — Герцену и Чернышевскому. Так, у авторов «К молодому поколению» очевиден страх, что при

³⁵ Текст прокламации см. в: Михаил Лемке, *Политические процессы*, с. 508–518.

всех своих несправедливостях закон об освобождении может сработать, и Россия будет вытолкнута на путь мирной и прозаической реформы, уже пройденный Западом.

А такая мирная эволюция неизбежно должна была закончиться капитализмом и властью буржуазии с её ненавистным материалистическим взглядом на жизнь. Русский крестьянин с его инстинктивным стремлением к социализму и демократии тогда превратился бы в рабочего, а, как уже мрачно замечал Герцен, «рабочий всех стран вырастет в буржуа»³⁶.

Поэтому неудивительно, что переменчивый патриарх русской радикальной мысли — ему было всего сорок девять, но молодёжь уже воспринимала его именно так — к лету 1861 года отрёкся от своего весеннего восторга перед Галилеянином и Царём-Освободителем. Теперь он восклицал:

О, если бы мои слова могли дойти до тебя, пахарь и страдалец русской земли, тебя, которого та Россия — лакейская Россия — держит в презрении... Если бы ты мог услышать меня, я научил бы тебя презирать [мнимых] духовных пастырей, поставленных над тобой Петербургским синодом и немецким царём... Ты ненавидишь и боишься своего помещика и своего священника — и ты прав. Но ты всё ещё веришь в царя и епископов... Не верь! Царь на стороне помещиков. Они — его люди. Своим мнимым освобождением император показал народу своё истинное лицо... [а затем приказал] стрелять и пороть.³⁷

Поразительная эволюция взглядов Герцена всего за четыре месяца.

Некоторые манифесты — очевидно, не такие, как «Молодая Россия», — отражали, пусть и в преувеличенной форме и дерзком языке, надежды и стремления более прогрессивных элементов общества. Таков был «Великорус» с его призывом к конституции и представительским учреждениям. Даже его позиция по польскому вопросу, хотя и крайняя, отражала дух времени — одного из тех редких и кратких периодов, когда русский шовинизм, казалось, был подавлен общим стремлением к свободе.

Возможно, ещё более важным, чем влияние на общество, было воздействие, которое всплеск революционной литературы оказал на режим. Власти отказались поддаваться панике; с их точки зрения брожение среди молодёжи не воспринималось столь серьёзно, как могли бы восприниматься более насильственные беспорядки среди крестьян. Здесь речь шла о горстке агитаторов, влияющих самое большее на несколько тысяч незрелых умов, в отличие от бунтов и восстаний, которые могли бы охватить миллионы.

С консервативной точки зрения главным источником общественного недуга, очевидно, были университеты, где царила возмутительная распущенность. В мае 1861 года правительство решило восстановить среди студентов хотя бы подобие дисциплины. Оно запретило несанкционированные студенческие собрания; общества взаимопомощи и библиотеки отныне

³⁶ Герцен, Сочинения, т. IV, с. 111.

³⁷ Колокол, 15 августа 1861 г. Курсив автора.

должны были находиться под контролем факультетских советов; а число тех, кто мог посещать высшие учебные заведения без платы за обучение, было ограничено.

Результат был предсказуем: когда начался осенний семестр, Московский и Петербургский университеты стали ареной студенческих беспорядков. Они развивались по уже слишком знакомой схеме: бурные собрания, на которых ораторы требовали отмены репрессивных правил; бойкот лекций непопулярных профессоров; наконец, массовые демонстрации как в стенах учебных заведений, так и перед домами университетских и правительственных начальников. В Петербурге состоялось шествие к резиденции попечителя университета, в Москве — к дому генерал-губернатора.

Попытки властей и некоторых профессоров успокоить разъярённых молодых людей также встретили реакцию, которую вполне можно было ожидать. Один весьма популярный петербургский профессор, убеждавший демонстрантов, что они наносят большой вред своему учебному заведению и делу просвещения, получил классический ответ: «При чём тут наука, Александр Васильевич? Мы решаем важные общественные вопросы дня».³⁸

В конце концов студентов обязали подписать заявления с обещанием хорошего поведения; большинство так и поступило. После этого около трёхсот непримиримых «...решили двинуться всей массой к зданию университета, напасть на тех, кто подписал обязательства, отобрать у них эти документы и разорвать их прямо на месте».³⁹ Здесь вмешались полиция и армия. Последовали массовые аресты, и несколько сотен участников беспорядков оказались в Кронштадтской и Петропавловской крепостях. Затем, в знак солидарности, ряд молодых профессоров подал в отставку. Весьма сходная последовательность событий произошла и в Москве. Оба университета были закрыты до конца учебного года.

Вскоре правительство вновь обрело чувство меры. Император был недоволен неуклюжим обращением с жалобами молодых людей. Несколько ответственных чиновников, включая министра просвещения, были уволены и заменены людьми прогрессивных взглядов, которые впоследствии подтвердят свою репутацию. Арестованные студенты вскоре были освобождены, а беднейшим из них предоставили субсидии, чтобы они могли продолжить образование.

Было заметно, что отношение городских масс во время беспорядков было явно враждебным к студентам: ходили слухи, будто «молодые господа» хотят восстановить крепостное право. Даже если эти волнения были косвенным выражением политического протеста, количественно они были весьма далеки от того, чтобы представлять реальную угрозу.

Но именно это само по себе было вызовом радикальному лагерю. Правительство, писал Герцен 1 ноября 1861 года в «Колоколе», показало себя «шайкой негодяев, грабителей и мужчин-

³⁸ Б. И. Горев и Б. П. Козьмин, *Революционное движение 1860-х годов* (Москва, 1932), с. 12.

³⁹ Горев и Козьмин, с. 18.

проституток». И далее он продолжал словами, в которых соединялись желаемое, принимаемое за действительность, и предвестие будущего:

Со всех концов нашей огромной страны — с Дона и Урала, от Волги до Днепра — слышатся стоны, слышится нарастающий ропот. Это лишь начало рёва приливной волны, которая после этого гнетущего затишья вскипает, беременная бурей. К народу, к народу — вот ваше место, изгнанники из храмов науки. Покажите, что вы станете борцами за русский народ. Вы начали новую эпоху. Вы поняли, что время шёпота, осторожной критики и [чтения] запрещённых книг прошло. Слава вам, наши юные братья, и наше благословение. О, если бы вы знали, как взволнованно бьются наши сердца! Как близки мы были к слезам, когда читали о студенческих днях в Петербурге.

Пока ещё немногие из молодых мятежников были готовы откликнуться на призыв Герцена. В отличие от 1870-х годов, когда возникнет массовое движение студентов и молодой интеллигенции «в народ», большинство тогдашних радикалов крайне неуверенно относилось к своей способности говорить с крестьянскими массами. И всё же их краткое заключение в тюрьмах вроде Петропавловской крепости, с её многозначительными воспоминаниями о декабристах, содержащихся там, действовало на студентов как опьяняющее средство.

Кроме того, были и другие аресты. Преследуя вдохновителей подрывной кампании, правительство само снабжало радикальный лагерь его первыми мучениками. Поэт Михаил Михайлов, распространявший и, возможно, участвовавший в написании воззвания «К молодому поколению», был выдан провокатором. Сын генерала и сам бывший офицер Владимир Обручев был пойман при распространении «Великоруса». Оба были приговорены к каторжным работам и ссылке в Сибирь, где Михайлов вскоре должен был умереть.

Их судьба вызвала сочувствие не только среди интеллигенции, но и в официальных кругах — особенно ввиду благородного поведения молодых людей, отказавшихся назвать своих сообщников. Это резко контрастировало с отношением масс, проявившимся во время публичного лишения чести — так называемой гражданской казни Обручева перед отправкой в Сибирь в кандалах. Осуждённый, стоя на коленях перед виселицей, выслушал свой приговор, после чего палач сломал шпагу над его головой. Толпа, наблюдавшая этот варварский обряд, состояла главным образом из рабочих и ремесленников Петербурга и была настроена злобно. Раздавались крики, что виновного за нелояльность царю следовало бы повесить или хотя бы высечь. Это было ещё одно яркое свидетельство пропасти, отделявшей радикалов от предмета их надежд и забот — народа.

Но этот факт не обескураживал их; напротив, он лишь укреплял решимость тех, кто верил в необходимость насильственного решения. Очевидно, долгожданная революция не придёт сама собой: пока массы отказались «поднять топор». Тем больше оснований создать тайную организацию, которая должна приблизить и подготовить день, когда пелена спадёт с глаз крестьян и они увидят, как грубо их обманули.

Эта логика была развёрнута в статье «Колокола» от 15 сентября 1861 года, подписанной «один из многих». Её анонимным автором почти наверняка был двадцатисемилетний Николай Серно-Соловьевич. Человек, созданный по образцу наиболее радикальных декабристов, Серно оставил государственную службу и в то время был владельцем петербургского книжного магазина и библиотеки для чтения, служивших местом собраний молодых политически недовольных.

В своей статье он признавал, что нынешний всплеск политического возбуждения среди образованного класса во многом обманчив. В действительности большинство его представителей исполнено раболепия перед правительством и заботится лишь о собственных эгоистических интересах и карьере. В обществе существует небольшое меньшинство, стоящее за народ, но, увы, оно не имеет с ним никаких связей.

Добрые намерения меньшинства бесплодны ввиду его слабости, а народу [крестьянам] недостаёт всякой инициативы. ... Для нации, испокон веков порабощённой, нет иного способа свергнуть угнетение, кроме тайных обществ. Они воспитывают борцов, объединяют рассеянные [революционные] силы, готовят общее движение. Без них массы не поднимутся; а если и поднимутся, то неподготовленными и не смогут одолеть организованного врага.

Декабристы, продолжает Серно, совершили главную ошибку, не вовлекая народ в свою деятельность. Новый революционный заговор должен быть общенациональным:

Нужно пользоваться пропагандой, много писать — и так, чтобы это было понятно народу. Нужно иметь тайные типографии, распространять печатные материалы среди крестьян и солдат... иметь тайные ячейки в полках... установить связи со старообрядцами, казаками, монахами... влиять прежде всего на военных, приобретать сторонников среди гражданских служащих... [Заговор] должен иметь собственные торговые и промышленные предприятия и накапливать финансовые средства.

Именно в 1861 году на русской почве впервые проросла столь существенная для коммунизма идея революционной партии: партии, которая не только стремится к политическим и социальным переменам, но и верит в революцию как в цель саму по себе, работает ради неё; партии, которая не только заявляет, что говорит от имени народа, но и стремится активизировать и формировать массы, вести их в решительной борьбе.

В манифесте Серно содержится также предвосхищение концепции перманентной революции, которую позднее сформулирует Троцкий и применит Ленин в 1917 году. Серно решительно отвергал мысль, что его лагерь должен стремиться лишь к конституции для России. Конечно, конституция облегчила бы задачу революционеров. Они могли бы легче вести свою заговорщическую и пропагандистскую деятельность, но «мы знаем, что конституция не является нашей конечной целью и последним словом».

То, что в XX веке станет возможным, для 1860-х годов казалось фантастической мечтой, скорее плодом разочарования её сторонников в том, что массы не поднялись, чем результатом трезвого политического мышления. Поэтому нужно было искать людей и вербовать их для

такого заговора, который имел в виду Серно. Здесь опять его представление и представление его единомышленников должно было глубоко повлиять на будущее революционного движения: важно иметь революционную организацию, какой бы численно слабой она ни была вначале. Остальное в значительной мере устроится само собой.

Само существование подпольной группы и её подрывная деятельность, пусть сперва и в малом масштабе, окажут несоразмерно сильное воздействие на режим. Он будет вынужден отказаться от своих мнимых реформ и прибегнуть к репрессиям. Пусть же он усилит репрессии в десять раз. Пусть сильнее давит на университеты, ужесточает цензуру, провозглашает военное положение, практикует террор! Тем самым он оттолкнёт и озлобит всё более широкие слои населения:

Вековой опыт учит, что [революционная] партия становится сильнее, чем больше её преследуют. Те, кто падает в борьбе, становятся [в глазах общества] мучениками и святыми. Их страдание в сто раз ценнее для дела, чем их действительные достижения.

Кроме того, добавляет автор, возможно вспоминая, что при Николае дело обстояло совсем иначе, нынешний режим настолько неумел, что никогда не сможет применять репрессии систематически и эффективно.

К тому времени, когда этот пламенный манифест был напечатан, уже существовало ядро заговора, который попытается претворить его проповедь в жизнь; Серно-Соловьевич был одним из его участников. Заговор называл себя «Земля и воля».

За время своего краткого существования «Земля и воля» далеко не достигла тех честолюбивых целей, которые ставили перед собой её основатели. Ей так и не удалось стать чем-то большим, чем рыхлая федерация заговорщических кружков, большинство которых занималось скорее обсуждениями и листовочной деятельностью, чем эффективными революционными действиями. «Земля и воля» также никогда не проявила себя в крупном мятежном выступлении, подобном 14 декабря. Когда после 1863 года волна революционного возбуждения начала спадать, большинство её участников оставило заговорщическую деятельность и обратилось к более прозаическим занятиям; со временем некоторые из них заняли высокое положение в официальном мире. Немало выпускников революционных «классов» 1861–1863 годов в конце концов станут министрами, генералами и сенаторами. Но другие расплатились за свои юношеские убеждения годами тюрьмы, ссылкой или даже жизнью.

Кодовое название заговора происходило из передовой статьи Огарёва в «Колоколе». Спросив в её заглавии: «Чего хочет народ?», он отвечал: «Земли и воли». Суть его рассуждения была далеко не столь непримирима, как у Серно-Соловьевича. Текст Огарёва был, по существу, проспектом революционной партии, стремившейся объединить радикалов самых разных направлений — от конституционных монархистов до тех, кто желал республики и аграрного коммунизма. Хотя её политическая программа не была чётко определена, в заключении чувствовался несомненный революционный оттенок: оно призывало массы не растрачивать

силы в отдельных беспорядках, а «собирать силы, искать надёжных людей, которые помогут советом и поведут словом и делом... [людей], готовых пожертвовать имуществом и жизнью. Так мы сумеем спокойно и твёрдо выступить против царя и дворян — за общинную землю, народную свободу и права человека».⁴⁰

Зарождающийся заговор сосредоточился вокруг двух центров: кружка Герцена в Лондоне и кружка Чернышевского в Петербурге. Герцен, самый человечный из революционеров, до сих пор был противником насилия и заговоров, но теперь предоставил предприятию свой огромный авторитет. Помимо личных причин, например влияния друга Огарёва, он всё больше разочаровывался в Александре II. Эта перемена началась с порок и расстрелов, которыми сопровождалось освобождение, и достигла отвращения при известиях из Варшавы, где русские войска несколько раз стреляли в демонстрировавшие польские толпы. Польский вопрос теперь приобретал решающее значение для русского революционного движения.

Что касается Чернышевского, то теперь он был горячим сторонником насильственного решения. Неясно, когда и даже вступил ли он вообще в «Землю и волю». Но ведь и Ганди никогда формально не был членом партии Индийский национальный конгресс, а роль Чернышевского в русском революционном движении к 1861–1862 годам стала чем-то похожей на роль, которую Ганди сыграет в борьбе за независимость Индии.

Этот весьма книжный человек был чрезвычайно популярен среди молодёжи, молодых офицеров и университетских студентов. Все они с трепетом читали его длинные рассуждения в «Современнике», выискивая — и обычно находя — между строк желаемое послание: существующая система, вся действительность русской жизни невыносима, и только революция может возродить страну.

Помимо пропаганды, Чернышевский попробовал себя и в агитации. Классическое определение различия между ними, данное Плехановым и многое говорящее о русском революционном движении, особенно о коммунизме, резко различает пропагандиста, который пытается объяснить немногим множество сложных идей, и агитатора, задача которого — внушить многим несколько идей.

Именно Чернышевский, несомненно, написал листовку, предназначенную для чтения среди крестьян; она начиналась словами: «Поклон барским крестьянам от их доброжелателей». Написанная несколько натянутым простонародным языком и весьма демагогическая по содержанию, брошюра перечисляла все действительные и предполагаемые недостатки Манифеста об освобождении, хотя к ним добавлялось и явно ложное обвинение, будто по закону помещик мог согнать крестьянина с выделенной ему земли.

Чего же можно было ожидать от царя: ведь он сам помещик! Помимо земельного вопроса, почему русским должны быть недоступны те свободы, которыми пользуются все цивилизованные народы? В других странах нет обязательной военной службы, подушной

⁴⁰ *Колокол*, 1 июля 1861 г.

подати и прочих тягот, которые несёт крестьянин в России. Там народ решает всё. Если англичане или французы становятся недовольны своим царём, они просто говорят ему:

Ты, царь, перестань быть над нами; ты нам не нравишься. Мы тебя заменяем. Ступай с миром... но подальше, иначе мы посадим тебя в тюрьму и отдадим под суд за неповиновение.⁴¹

Такие чудесные вещи могли бы произойти и в России, если бы крестьяне только объединились и, когда их доброжелатели дадут сигнал, сделали то, что им скажут.

В отличие от декабристов, которые лишь слегка занимались подобным делом, сторонники «Земли и воли» придавали большое значение агитации и усилиям отучить массы от их некритической веры в царя. Оглядываясь назад, ясно, что такие усилия были обречены на бесплодие. Даже если бы потенциальные революционеры располагали хорошо организованной сетью подпольных типографий и могли распространять свою агитационную литературу в массовом масштабе — а многие их листовки, как и листовка Чернышевского, были перехвачены полицией до печати, — её послание осталось бы непонятным среднему крестьянину того времени. Возможно, он был одновременно слишком необразован и слишком искушён, чтобы откликнуться на революционный призыв.

Какие бы обиды он ни имел против фактической формы Освобождения, они в его сознании не связывались с политикой. И крестьянин, естественно, начинал бы подозревать неладное, когда к нему чрезмерно простонародным языком обращался человек, явно принадлежавший к господам. То же самое, хотя, возможно, в меньшей степени, относилось к агитации, направленной на солдат.

Одним из первых организаторов «Земли и воли» был Николай Обручев, полковник Генерального штаба, который завершит свою карьеру во главе русской армии. Именно Обручев — двоюродный брат Владимира — вместе с Огарёвым написал обращение к армии. Напечатанное в номере «Колокола» от 8 ноября, оно призывало солдат к мятежу, если и когда власти прикажут им подавлять крестьянские восстания.

Царь подписал приказ о том, как и когда подавлять народ. Почему он вздумал издать этот приказ и напечатать его? Ясно, что он боится народа. А если человек испуган, он слаб.

Что делать солдатам? Они должны отказаться повиноваться приказам.

Что сделает царь, когда солдаты откажутся усмирять народ? Очевидно, ему придётся дать народу землю и волю — а это всё, чего хочет народ. Итак, если армия не обратится против народа, тот получит землю и волю без резни, без пролития единой капли крови.⁴²

Авторы подробно разбирали и опровергали все возможные возражения против неповиновения. Солдатская присяга не могла связывать человека обязанностью совершать нечто по своей природе безнравственное или злое — например, стрелять в крестьян,

⁴¹ Текст см. в: Чернышевский, т. XVI (1953), с. 947–953.

⁴² *Колокол*, 8 ноября 1861 г.

желающих получить землю, или в поляков, желающих национальной свободы. Но и здесь должно было пройти более пятидесяти лет и две разрушительные войны, прежде чем русский солдат услышит обращённое к нему мятежными соотечественниками: «Братья, не стреляйте!» — и откажется стрелять в собственный народ.

Столь же воображаемой — хотя и намного, намного опережавшей своё время — была общая стратегия революционеров. При всей внешней мощи, при кажущейся способности стоять гранитной скалой среди бушующих общественных сил, должен был прийти момент, когда царский режим окажется уязвимым для фронтального удара. Величественное здание николаевской системы было потрясено до основания поражением в Крымской войне. Следовательно, само самодержавие должно стать уязвимым в случае новой внешней угрозы, особенно если она совпадёт с критическим периодом во внутренней политике.

И здесь «Земля и воля» стала первопроходцем идеи, которая приобретёт решающее значение для Ленина и его последователей: революционная партия не должна наносить удар по своему врагу случайно, под влиянием момента, как это сделали декабристы и что привело их к катастрофе. Она должна беречь свои силы и действовать только тогда, когда время созрело, когда правительство, чей престиж и уверенность в себе уже подорваны, оказывается в обороне — и внутри страны, и за её пределами.

Такой момент, полагали заговорщики, наступит весной 1863 года. Именно тогда истекал двухлетний переходный период, установленный Манифестом об освобождении, и новый статус крестьян как землевладельцев или арендаторов, а также их обязанности перед бывшими господами должны были быть юридически оформлены. Несомненно, к тому времени крестьяне увидят, как жестоко их обманули, как мнимое освобождение означает для многих меньше земли, а для всех — более тяжёлые денежные или трудовые повинности. И тогда Россия наконец поднимет топор.

Представляя себе масштабы восстания, заговорщики имели перед глазами соблазнительные картины великих крестьянских войн прошлого: восстание донского казака Стеньки Разина в 1670–1671 годах и особенно восстание Емельяна Пугачёва в 1773 году. Оба охватили огромные пространства; второе особенно распространилось по Нижнему Поволжью и Уралу. В обоих случаях для подавления мятежей и восстановления порядка приходилось привлекать регулярные войска.

Но была и другая причина, по которой революционеры называли весну 1863 года своей целевой датой: к тому времени императорская армия должна была быть занята в другом месте. В Польше неизбежно должно было вспыхнуть восстание, а в связи с этим весьма вероятен был общеевропейский конфликт, в котором империя, как и в Крымскую войну, столкнулась бы с великими державами Запада. Эта откровенная предпосылка — национальная катастрофа как условие революции — является ещё одной точкой сходства между «Землёй и волей» и русскими марксистами XX века, которые и в 1905, и в 1914 году будут надеяться на поражение своей страны, считая его меньшим злом, чем сохранение самодержавной системы.

Такие расчёты соответствовали интернационалистскому кредо тех, кто их строил, кредо, провозглашавшему, что «у рабочих нет отечества», и могли быть рационализированы верой в то, что русская революция станет прологом к общеевропейской. Однако в 1860-е годы идеи Карла Маркса были в России практически неизвестны и не играли роли в радикальной мысли. Когда наступит момент национальной опасности, не окажется готовой идеологии, способной противостоять притяжению русского национализма — не только в чувствах народных масс, но и в чувствах самих революционеров.

Теоретически ожидания заговорщиков относительно потрясения в Польше и его политических последствий для России казались обоснованными. Царство Польское, жестоко подавленное при Николае, после его смерти вновь стало ареной политического брожения: национальная агитация снова вышла наружу, а требования сперва автономии, затем полной независимости стали находить поддержку не только у высших классов, как это было в 1830 году, но также у евреев и городского пролетариата.

Как и в самой России, императорское правительство ослабило хватку и обещало реформы. Но так же, как в России Александр II был решительно настроен не допустить, чтобы реформы дошли до конституции, так и в своих польских владениях он не желал предоставить то, что было минимальным требованием умеренных патриотов: восстановление законодательного собрания королевства и его внутренней самостоятельности, при сохранении союза с империей — теоретически, как до 1830 года, — лишь через общего монарха.

Обращаясь к собранию дворян в Варшаве в 1856 году, Александр назвал такие устремления «пустыми мечтами». Вместо этого он попытался провести серию паллиативных мер: укомплектовать администрацию местными уроженцами, вновь открыть высшие учебные заведения, закрытые Николаем, и предоставить большую свободу католической церкви, тогда, как и теперь, знаменосцу польского национализма. Но вместо того чтобы сдержать поднимающуюся волну политического недовольства и агитации, эти меры произвели противоположный эффект. Вскоре властям пришлось иметь дело с ростом националистических демонстраций и нападениями на русских чиновников и офицеров. Как и в самой империи, реакция правительства колебалась между новыми уступками и репрессиями; разница состояла в том, что в Польше революционный пыл не ограничивался узкими кружками заговорщиков, а охватил городское население в целом.

Отношение к польской проблеме часто было лакмусовой бумажкой подлинной преданности русских революционеров свободе. Для большинства декабристов идея полной независимости Польши вовсе не была популярна, и даже Пестель желал бы видеть Польшу сателлитом России. Но теперь, почти чудесным образом — учитывая многовековые несчастливые отношения между двумя народами, — русское прогрессивное мнение, не только революционного толка, казалось, относилось к польскому делу сочувственно.

Никто не выражал эту позицию сильнее и искреннее, чем Герцен. 10 апреля он устроил в Лондоне банкет в честь провозглашения Освобождения, на котором собирался поднять тост за человека, всё ещё остававшегося в его глазах Царём-Освободителем. Но прежде чем гости

сели за стол, до них дошла весть о кровавых событиях в Варшаве: толпа демонстрантов вышла из повиновения; солдаты открыли по ней огонь, вызвав гибель и ранения людей. Осудив императора, Герцен затем поднял бокал «за полную, безусловную независимость Польши».

Однако проницательный наблюдатель современного русского общества не мог не заметить, что в этой кажущейся полонофилии образованного класса было нечто весьма поверхностное. Она выростала скорее из общего критического отношения к правительству, чем из подлинно либерального чувства в национальном вопросе и отказа от имперского прошлого страны.

Чернышевский, который в силу своего социального происхождения и отсутствия длительного пребывания на Западе гораздо лучше Герцена понимал своих соотечественников, написал слова, сегодня не менее, если не более, актуальные, чем в 1862 году:

Политика России до недавнего времени была направлена главным образом на расширение, и эта задача, выполнявшаяся весьма успешно, ослабила действительные силы нашего собственного народа. Мы никогда не могли стать по-настоящему цивилизованными, даже не могли иметь здоровых экономических условий, потому что у нас никогда не было ни времени, ни средств для внутренних дел. ... У нас материалы, необходимые для плугов и серпов, всегда шли на изготовление мечей и копий, и потому до сих пор мы не могли даже как следует обрабатывать нашу землю.

Этот империализм и милитаризм не были лишь следствием правительственной политики. Здесь, в отличие от многих своих социальных и политических идей, Чернышевский был жестоко реалистичен:

Было бы неверно приписывать это поглощение всех мыслей и средств общества завоеваниями прежним правительствам. Само общество требовало такой [экспансионистской] политики правительства и поддерживало её. ... Вспомним, как в начале последней [Крымской] войны девяносто девять из ста так называемых образованных людей ликовали при мысли, что мы скоро возьмём Константинополь.⁴³

Какая польза могла быть России от Константинополя? — спрашивал он и, отвечая на собственный вопрос, опять весьма проницательно отмечал: именно слепая иррациональная эмоция, а вовсе не представление о материальной выгоде для себя или своей страны, превращала его соотечественников в шовинистов. Если бы Россия действительно выиграла войну, она стала бы беднее, ей пришлось бы тратить огромные суммы на содержание большой армии на Балканах, что привело бы к дальнейшим осложнениям, войнам и так далее *ad infinitum*.

Но даже Чернышевский не был вполне реалистичен в анализе этой коренной причины исторического затруднения своей нации: он считал, что высшая точка русского империализма и его народного одобрения уже пройдена.

⁴³ Чернышевский, т. X (1952), с. 487–488.

Именно это убеждение привело заговорщиков к мысли о возможности синхронизировать польское восстание с крестьянским восстанием внутри России. В номере «Колокола» от 1 октября 1861 года Огарёв писал:

Мы просим поляков не начинать преждевременно [только] своими силами, которые окажутся недостаточными. Такой вредный шаг лишил бы Россию помощи, которой она ждёт от Польши, и надолго отложил бы их общее освобождение. ... Польское [тайное] общество и [подобные] литовские, украинские и русские общества должны быть частями общего фронта и действовать совместно.

Возможно, было несколько наивно со стороны заговора столь открыто объявлять свою стратегию, позволяя всем, включая правительство, заранее знать свои планы. Но «Земля и воля» была революционной партией, так и не сумевшей полностью организовать себя, — заговором, который никогда не довёл свою заговорщическую деятельность до стадии планирования, не говоря уже о попытке захвата власти.

Несмотря на свою активистскую философию и честолюбивые замыслы, «Земля и воля» ожидала событий примерно так же, как её революционные предшественники, которые, выведя свои силы на Сенатскую площадь 14 декабря, затем принялись ждать, что что-нибудь произойдёт. В отличие от декабристов, революционеры начала 1860-х годов знали, чего они ждут и на что надеются: одновременного крестьянского и польского восстаний. Но пока эти восстания действительно не произошли, их деятельность должна была ограничиваться вербовкой членов, пропагандой и агитацией.

Здесь заключался внутренний парадокс, который будет завораживать русских революционеров вплоть до 1917 года: они провозглашали царский режим несправедливым, разложившимся и неумелым, но одновременно почему-то считали его почти неуязвимым для прямого удара. Только внешнее поражение, стихийное народное восстание или нанесённая самим режимом себе рана — например, дарование конституции — могли сделать самодержавие уязвимым и расчистить путь революционной партии. До тех пор её роль оставалась ролью суфлёра, а не главного действующего лица.

Такой подход, конечно, сталкивался со страстью революционного фанатика к немедленному действию. Это столкновение, в свою очередь, помогает объяснить, почему начиная с 1866 года заговорщики всё чаще будут испытывать соблазн прибегнуть к индивидуальному террору как средству разрешения одновременно своих политических и личных дилемм. Модель «революции в ожидании», впервые разработанная «Землёй и волей», не останется без критиков. Так, Пётр Ткачёв писал в 1870-е годы:

Готовить революцию — не дело революционера. Её всё время готовят эксплуататоры, капиталисты, помещики... Революционер не готовит революцию, а совершает её. Так совершайте её. Делайте это сейчас. Быть нерешительным, медлить — преступно.⁴⁴

⁴⁴ Пётр Ткачёв, *Сочинения*, т. III (Москва, 1933), с. 225.

«Земля и воля» предлагала ждать. Помимо своих исходных предпосылок, у неё не было выбора: она так и не достигла ни политической и организационной сплочённости, ни достаточного числа членов, которые позволили бы ей перейти от чертежей и пропаганды к действию. Теоретически её структура строилась на взаимосвязанных ячейках, каждая из которых состояла из пяти членов. Каждый член, в свою очередь, должен был привлечь ещё четверых, так что его личность должна была быть известна только восьми людям.

Руководящая группа, довольно пышно именовавшая себя Центральным комитетом, состояла из братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, полковника Николая Обручева, Александра Слепцова — чиновника Императорской канцелярии, — и поэта-журналиста Василия Курочкина. Общая численность заговора никогда не была внушительной: где-то между одной и тремя тысячами человек. Основная масса была набрана из молодёжи, участников университетских волнений осени 1861 года, слушателей военных академий, младших чиновников; на этот раз — в отличие от декабристов — не из элитной гвардии, а главным образом из специальных родов войск, особенно артиллерии.

Поскольку «Земле и воле» не суждено было организовать крупный революционный переворот, большинство её рядовых участников так и не было раскрыто полицией; даже некоторые заметные фигуры, на которых в Третьем отделении имелись обширные досье и за которыми велось тайное наблюдение, избежали вреда — вероятно, потому что находили влиятельных покровителей в правительственных кругах.

Как и в случае с декабристами, в режиме были люди высокого положения, склонные смотреть сквозь пальцы на подрывную деятельность своих молодых подчинённых и знакомых, считая её следствием заблуждающегося идеализма и естественной юношеской горячности. «Такая маленькая группа, — скажет снисходительный полицейский чиновник в 1895 году после ареста ряда петербургских марксистов, среди которых был Ленин, — что-нибудь из неё может выйти лет через пятьдесят».

Кроме того, в начале 1860-х годов существовала определённая связь — если не симпатии, то понимания — между более умеренными революционерами и прогрессивным элементом внутри императорской бюрократии. И те, и другие разделяли желание удержать Россию на пути реформ и в конечном счёте привести её к конституции. К последней группе принадлежали такие высокопоставленные сановники, как брат императора великий князь Константин Николаевич; военный министр Дмитрий Милютин, который, должно быть, знал по крайней мере о некоторых внеучебных занятиях Николая Обручева, одного из своих самых многообещающих офицеров; князь Александр Суворов, губернатор Петербурга, в молодости декабрист, а теперь весьма au courant⁹ относительно того, что происходит в радикальных кругах столицы.

При самодержавии грань, отделявшая революционера от реформатора, временами становилась несколько размытой, и последний часто чувствовал, что политическое инакомыслие, если оно удерживается в известных пределах, может оказать большую помощь его собственному делу.

Однако при всей своей численной слабости «Земля и воля» могла повредить — и, возможно, смертельно — делу реформ. Ввиду того что «Колокол» и подпольные листовки в России открыто заявляли о существовании этой организации и о её воспалённых целях, правительство могло решить, что столкнулось с действительно хорошо организованным и опасным заговором; что политическое недовольство образованного класса уже невозможно умиротворить дальнейшими уступками, а следует подавлять полицейскими мерами. Политические репрессии, в свою очередь, неизбежно расширяли пропасть между режимом и обществом. Именно на это, разумеется, и надеялись крайние среди радикалов, и в течение 1862 года им предстояло получить желаемое.

В апреле того года три русских офицера, находившиеся в Польше, были задержаны за распространение революционной пропаганды среди своих солдат, преданы военно-полевому суду и приговорены к смерти. Месяц спустя бедствие обрушилось на Петербург. Произошла серия пожаров неясного происхождения, бушевавших в бедных районах столицы, где жили и вели свои мелкие дела рабочие, ремесленники и мелкие торговцы. 28 мая огромный пожар уничтожил Апраксин рынок с его более чем двумя тысячами лавок, складов и торговых мест.

Сразу же среди низших классов поднялся крик, что это был поджог, совершённый польскими революционерами и/или их русскими сообщниками. То, что правительство впоследствии сочло необходимым сделать, кратко и весьма характерно описано официальным царским историком этого периода:

Следственная комиссия, назначенная Его Величеством, не сумела установить лиц, непосредственно ответственных за поджоги. Но из показаний, данных комиссии, было установлено, что [школы для взрослых], которые разные литераторы и студенты устраивали для рабочих и ремесленников, пытались внушать последним подрывные учения. Эти воскресные школы, учреждённые за последние два года в большом количестве частными лицами, действовали без какого-либо официального надзора. Были также установлены связи между лондонскими [политическими] эмигрантами и сотрудниками нескольких петербургских журналов. Поэтому Его Величество соизволил постановить: впредь до пересмотра их положения все воскресные школы закрыть, а издание «Современника» и «Русского слова» приостановить на восемь месяцев. Одновременно при Третьем отделении Собственной Его Величества канцелярии была учреждена особая комиссия для розыска распространителей подпольных листовок и иной революционной литературы. Эта комиссия распорядилась арестовать нескольких лиц, среди них Чернышевского, самого влиятельного публициста так называемого «прогрессивного лагеря»...⁴⁵

Очевидно, это вовсе не обязательно был поджог. Пожары в районах бедноты, с их невероятной скученностью и полным пренебрежением к каким-либо мерам предосторожности, случались часто. Кто-то подсчитал, что типичное деревянное строение того времени в среднем случайно загоралось раз в восемь лет. А если это и был поджог, то едва ли вероятно, что именно революционеры поднесли факел к жилищам бедняков.

⁴⁵ Татищев, т. I, с. 491.

Отчасти радикалы стали жертвами собственной схемы: массы, от имени которых они заявляли, что говорят и действуют, обратили свой гнев и отчаяние против них, а не против властей. Последние почувствовали, что наконец получили и предлог, и санкцию общественного мнения, чтобы выступить против тех, кого считали стоявшими за всей революционной агитацией последних двух лет.

Но хотя подозрения правительства были не лишены основания, серьёзных доказательств, изобличающих Чернышевского и Серно-Соловьевича, арестованного вместе с ним 7 июля и помещённого в Петропавловскую крепость, найти не удалось. Всё, что действительно можно было установить, состояло в том, что они находились в контакте с Герценом и его группой, — а это было справедливо в отношении большинства видных русских людей того времени, включая некоторых высокопоставленных лиц. Они оставались заключёнными в крепости два года, ожидая суда Сената, пока Третье отделение подделывало доказательства их вины.

Аресты, особенно арест Чернышевского, вызвали большое возмущение среди образованных людей. Для многих, даже весьма консервативных, он был ведущим социальным мыслителем России, и никто не мог поставить под сомнение искренность его идеализма. Это было ещё одной причиной, по которой власти не спешили судить и осуждать его до тех пор, пока радикальное дело не будет дискредитировано даже внутри интеллигенции.

Какой бы жестокой она временами ни была, политическая репрессия при Александре II никогда не могла достичь той степени эффективности, которой она обладала при Николае. Поэтому неудивительно, что роман, написанный Чернышевским в тюрьме, был обычным порядком пропущен цензором и опубликован вполне легально, под его собственным именем. Ещё в большей степени, чем его прямо социальные и политические сочинения, «Что делать?» станет библией и вдохновением целых поколений радикалов; его заглавие позднее заимствует Ленин для своей важнейшей работы, в которой заложит основы большевизма.

Бодрящая, хотя и наивная и художественно беспомощная история о новых мужчинах и женщинах, об их отказе от удушающих общественных условностей и поиске самореализации будет расшифрована молодёжью как призыв к революции. При всём своём разочаровании в народе Чернышевский вновь подтвердил здесь веру в то, что вскоре горстка апостолов нового порядка добьётся успеха.

Мы не видели этих людей шесть лет назад... но мало важно, что мы думаем о них теперь; через несколько лет мы обратимся к ним. Мы скажем: «Спасите нас», — и всё, что они скажут, будет исполнено всеми.

Так и случится, хотя не в 1870 году, который Чернышевский назначил новой датой ожидаемой революции после того, как она не произошла в 1863-м, а в 1917 году.

Паническое настроение, вызванное пожарами, прошло, и пока правительство не стало пытаться повернуть время вспять. Но начиная с весны 1862 года в тоне официальных заявлений и в настроениях режима произошла заметная перемена. В правящие круги

вернулось известное раздражение: смогут ли реформы когда-нибудь изгнать революционный вирус из русской жизни?

Более консервативные советники императора уже никогда не избавятся от убеждения, что стране угрожает широкий заговор, в котором арестованные интеллектуалы и запрещённые журналы составляют лишь малую часть. По их мнению, у этого скрытого заговора были попутчики почти во всём образованном классе, для которого всякая реформа становилась лишь поводом для новых требований к правительству — требований, которые в конечном счёте угрожали бы существованию режима и страны. Отсюда склонность с яростью реагировать на малейшие проявления открытого инакомыслия.

Это ярко проявилось в случае дворянского собрания Тверской губернии, когда оно почтительно обратилось к царю с прошением о том, чтобы финансовое бремя освобождения крепостных было разделено всеми сословиями, а не возложено только на крестьян. Это предложение сопровождалось смиренной просьбой к режиму обратиться за советом к избранным представителям нации относительно дальнейших мер реформы. Совершенно законная по форме и лояльная по тону петиция получила ответ в виде заключения тринадцати её сторонников — все они были состоятельными помещиками, которых продержали в тюрьме пять месяцев, а затем сослали в их имения.

Теперь правительство склонно было вынюхивать измену даже в самых умеренных и безобидных формах политического инакомыслия. Вследствие этого общество неизбежно становилось скептическим относительно способности правительства возродить Россию. Это взаимное разочарование подготовило почву для окончательной трагедии царствования, начавшегося столь многообещающе.

В отличие от старого режима, обращение которого с подданными напоминало отношение тюремщика к заключённым, режим Александра ожидал заслужить доверие и благодарность народа и, естественно, сперва недоумевал, а затем приходил в ярость, когда его реформы вознаграждались растущей волной недовольства и крамолы.

Правительство не замечало одного основного изъяна в своём поведении: оно походило на снисходительного, но не слишком чуткого родителя, который, будучи готов осыпать своего подростка подарками, отказывает ему в том, чего тот желает и в чём больше всего нуждается, — в свободе. Царское правительство также не понимало, что для большинства образованных русских эта свобода не обязательно и не главным образом означала конституционный строй и представительные учреждения.

Из высказываний и стремлений видных людей того времени, включая самых консервативных среди них, явствует их жажда гласности — термина, который лучше всего, хотя и несколько свободно, можно перевести как «открытое общество». Гласность подразумевала правительство, которое, даже оставаясь по форме самодержавным, действовало бы на виду у общества и с должным уважением к общественному мнению, а не формулировало бы свою политику в тайне, усилиями небольшой клики чиновников — своего рода заговора.

Открытое общество означало также, что то, что человек может и не может делать, говорить и писать, должно определяться законом, а не прихотью царя или какого-нибудь бюрократа. Может показаться, что само понятие гласности было внутренне противоречивым, если не наивным: как может личная свобода быть защищена иначе, чем конституционными гарантиями; как может правительство внимать нуждам народа иначе, чем при демократических учреждениях?

Однако, как бы странно это ни звучало для человека, воспитанного в западной традиции, мысль о том, что свобода и авторитаризм не обязательно должны исключать друг друга, была устойчивым мотивом русской политической мысли. Мы уже встречали её у славянофилов. Сегодня она обнаруживается у Солженицына, когда он пишет:

Невыносим не сам авторитаризм, а идеологическая ложь, ежедневно нам навязываемая. Не столько авторитаризм, сколько произвол и беззаконие, само беззаконие наличия единоличного властителя в каждом районе, каждой области и каждой сфере, чья воля решает всё.⁴⁶

В 1862 году средний интеллигент не слишком беспокоился об официальной идеологии. В отличие от наших дней, ему даже не нужно было притворяться, что он в неё верит. Но он страдал от «произвола и беззакония» и ненавидел «часто грубую и невежественную бюрократию». Если бы правительство поняло психологию своих умеренных критиков, если бы оно осознало, что они хотят от него не отречения от власти, а прежде всего человеческого и цивилизованного управления, оно сделало бы гигантский шаг к общественному примирению.

Существовали просвещённые чиновники, понимавшие, что необходимо для умиротворения общества, но они не могли уравновесить влияние реакционных советников царя. А у последних были невольные союзники среди революционеров.

Затем произошло событие, которое нанесло сокрушительный удар и делу революции, и делу реформы и, по крайней мере временно, придало самодержавию новую силу и популярность. Долгожданное польское восстание вспыхнуло в январе 1863 года. С точки зрения русского революционного лагеря восстание было преждевременным. Представители польских националистов установили контакты с группой Герцена в сентябре 1862 года и с Центральным комитетом «Земли и воли» в декабре, наметив планы синхронизации революционной деятельности в обеих странах. Русская сторона в обоих случаях настаивала, чтобы поляки отложили своё выступление до весны, когда она ожидала крестьянских восстаний.

Но поляки отказались ждать. Своим поспешным действием они ослабили либеральный элемент внутри императорской администрации. Его главным представителем был великий князь Константин Николаевич, тогдашний наместник Польши, выступавший за политику умеренности и примирения как там, так и в России. Теперь его совет уже не был услышан братом.

⁴⁶ *Письмо вождям Советского Союза* (Лондон, 1974), с. 53.

Правительство знало о связях между русскими радикалами и польскими повстанцами. Получив известие о восстании, Александр II заявил:

Это дело революционной партии, всюду стремящейся подорвать законный порядок. Я знаю, что эта партия рассчитывает на предателей в наших собственных рядах.⁴⁷

Без внешней помощи восстание было безнадежным предприятием, куда более безнадежным, чем восстание 1830–1831 годов. Тогда поляки располагали регулярной армией и с самого начала контролировали территорию королевства. Теперь им приходилось прибегать к партизанской борьбе в деревне, а двадцать-тридцать тысяч плохо вооружённых повстанцев едва ли могли рассчитывать долго держаться против более чем ста тысяч регулярных войск.

«Земля и воля» возлагала большие надежды на то, что восстание вызовет если не мятеж, то массовые дезертирства в русских гарнизонах в Польше: более четырёхсот офицеров этих гарнизонов числились в её списках членов и сочувствующих. Эти надежды вскоре оказались иллюзорными. Националистический пыл взял верх даже у тех, кто был связан с революционным делом. Случаев перехода русских солдат и офицеров на сторону противника было всего несколько.

Прокламация «Земли и воли» к солдатам, сражавшимся в Польше, — «Вместо того чтобы убивать... поляков, обратите меч против врага: оставьте Польшу, вернув ей украденную свободу, и приходите сюда, на родину, чтобы освободить её от причины всех народных бедствий — императорского правительства» — осталась без отклика.

Ещё более жестоко были разочарованы ожидания широких крестьянских восстаний, которые должны были вспыхнуть после второй годовщины освобождения. И снова революционерам следовало бы лучше понимать действительность. В 1862 году число и интенсивность беспорядков в деревне были существенно ниже, чем в предыдущем году. Теперь же сельская Россия оставалась спокойной.

Насколько малоэффективной оказалась «Земля и воля» в год, который должен был стать годом революции, лучше всего показывает тот факт, что у властей почти не было поводов искать и задерживать её членов. В Казанской губернии была попытка поднять местных крестьян путём печати поддельного императорского манифеста, призывавшего их захватить всю землю и бороться с помещиками и чиновниками. Но ещё до распространения фальшивой прокламации заговор был выдан властям, и заговорщики, среди которых были офицеры польского происхождения и местные студенты, были арестованы.

Заговоры, потерпевшие неудачу, оставляют за собой след тщетности и в ретроспективе выглядят жалкими и дилетантскими. Не только численная слабость обрекла заговорщиков «Земли и воли» на провал. Конечно, партия Ленина накануне Февральской революции едва ли была намного многочисленнее пропорционально населению крупных городских центров, хотя

⁴⁷ С. Неведенский, *Катков и его время* (Санкт-Петербург, 1888), с. 170.

большевики были несравненно сильнее в отношении идеологической и организационной сплочённости и руководства.

Но неспособность революционеров 1863 года оказать более заметное влияние на события того года главным образом восходит к одной основной ошибке в их расчётах: они не учли взрывную силу русского национализма, вновь разожжённого известиями о польском восстании. Угроза могуществу и престижу империи заглушила политическое и социальное недовольство и стремилась превратить даже самых радикальных критиков режима в его сторонников.

Широко распространялись рассказы о том, как польские партизаны резали безоружных русских солдат, застигнутых ими в казармах. Столь же болезненно воспринималось простым человеком требование повстанцев о том, чтобы, помимо независимости, Польша вернула себе западные губернии собственно империи, где, несмотря на преобладание польского элемента среди дворянства и в городах, основную массу населения составляли украинцы и белорусы, а потому, в тогдашнем представлении, по существу русские.

Социальные и религиозные противоречия усиливали шовинистическую реакцию. Именно польские помещики и духовенство, согласно официальной русской версии причин восстания, подняли массы своей нации против благодетельного правления царя и своих собратьев-славян. Неблагодарный народ, который в прошлом доказал неспособность управлять самим собой, теперь стремился не только вернуться к своим анархическим привычкам, но и захватить и ограбить миллионы православных русских, лишив их национального и религиозного наследия.

Масштабы этого шовинистического взрыва поразили радикальные круги. Даже Чернышевский, понимавший империалистические влечения своих соотечественников, полагал, что в послениколаевскую эпоху в этом отношении произошла большая и благотворная перемена. Образованные люди начали понимать, что величие России зависит не от того, сколько чужих земель она сможет завоевать и подчинить, а от решения насущных внутренних проблем.

В целом он считал, что национализм, за исключением народов, стремящихся к независимости и единству, в значительной мере уже исчерпал себя. Главным вопросом дня в Европе был вопрос социальной справедливости:

Что касается материальных условий, Европа делится на две части: одна живёт трудом другой, вторая — своим собственным. В интересах первой сохранить существующий порядок вещей... Другая, состоящая из девяноста процентов народа, заинтересована в том, чтобы осуществить перемену, при которой трудящийся пользовался бы всеми плодами своего труда, а не видел бы, как ими пользуется кто-то другой.⁴⁸

⁴⁸ Чернышевский, т. VI (1949), с. 337.

Это звучащее по-марксистски утверждение свидетельствовало о твёрдой вере в то, что разумные люди повсюду уже поняли: воинствующий национализм, милитаризм и тому подобное не могут быть по-настоящему популярны среди масс, хотя правительства искусственно их разжигают, чтобы отвлечь народ от его подлинных нужд и увековечить экономическую и социальную несправедливость.

В 1863 году, в России, анализ Чернышевского был опровергнут событиями. Основная масса интеллигенции теперь встала рядом с другими сословиями, поддерживая правительство в час национальной опасности. Националистический пыл усиливался угрозой общеевропейской войны, в которой империи, как и в 1854–1856 годах, пришлось бы столкнуться с главными державами Запада.

В начале года Британия, Франция и Австрия направили петербургскому двору ноты, призывая его восстановить автономию и конституцию Польши, которые Россия, нарушив свои международные обязательства, упразднила тридцатью годами ранее. Дерзкий ответ императорского правительства — что восстание должно быть подавлено и только затем император, возможно, соизволит рассмотреть жалобы своих польских подданных, — был широко одобрен общественным мнением и поднял патриотическую лихорадку до высшей точки.

Прогрессивные журналы, такие как «Современник», теперь вновь получили разрешение выходить и соревновались с реакционной прессой в заявлениях о верности режиму и в обличении «коварных поляков» за их «иезуитские» замыслы. Из Лондона Герцен с ненавистью и отвращением наблюдал эту шовинистическую эпидемию, которую он называл «патриотическим сифилисом». Его продолжающаяся пропольская позиция дорого обошлась и ему, и его делу. Тираж «Колокола» в России резко упал, а сам Герцен уже никогда не восстановит своего господства над умами интеллектуальной элиты, в глазах которой он стал другом врагов своей страны.

Его место и место Чернышевского в этом отношении занял Михаил Катков — пламенный журналист, чьи нападки на поляков и их русских союзников соответствовали текущему настроению его соотечественников. Некогда либерал, а в юности спутник таких светил радикализма, как Белинский, Михаил Бакунин и сам Герцен, человек широкой эрудиции и широкого интеллектуального кругозора, Катков теперь атаковал радикальное дело с той яростью и убеждённостью, на какие способен лишь тот, кто прежде был его приверженцем.

Не только поляки и несколько заблудших русских юношей угрожали отечеству. Россия, по его мнению, была целью международного заговора, намеревавшегося использовать её для своей войны против европейской цивилизации:

Наши заграничные беженцы находят, что Европа уже прошла свой революционный апогей, что революция там не может увенчаться успехом из-за таких препятствий прогрессу, как наука, цивилизация, свобода, выраженная в правах собственности и личности... Отсюда благословенная мысль избрать Россию для своего опыта, где, по их мнению, эти препятствия недостаточно сильны или

вовсе не существуют... [Они считают], что она позволит делать с собой всё, что кому угодно, подчинится всему, что было бы нестерпимо в любом другом обществе.⁴⁹

Это был искусный полемический удар, весьма способный повлиять на умы колеблющихся интеллектуалов. Вместо уже избитых обвинений в подрывной деятельности, отсутствии патриотизма и тому подобном радикалы изображались врагами прогресса, цинично надеющимися использовать отсталость России в собственных целях, которые на деле были враждебны самому прогрессу.

Но Катков занимался и откровенной демагогией, используя нарастающую волну ксенофобии и религиозной нетерпимости. Для среднего русского слово «иезуит» имело примерно те же коннотации, какие слово «коммунист» имело для американцев 1950-х годов. Катков видел руку иезуитов во всех бедах, недавно постигших Россию. Как иезуиты и католическая церковь оказались в союзе с международным анархистским заговором, никогда не объяснялось.

Эти зловещие, тайные силы, по его мнению, были также ответственны за плачевное состояние русского образования и общественной нравственности; за то, что молодых людей воспитывают в духе «атеизма и космополитизма»; за нелепую мысль, будто существует такая вещь, как украинская нация; за всё и вся, что могло способствовать падению России.

Шовинистические проповеди Каткова были столь крайними, что вызывали недовольство в официальных кругах. Однако на тот момент он пользовался огромной популярностью даже среди групп, которые традиционно страдали от официальной политики. В своём революционном сценарии «Земля и воля» отводила заметную роль старообрядцам — раскольническому ответвлению православной церкви, которое, как таковое, страдало от правовых ограничений и чиновничьих придирок. Теперь старообрядцы, несмотря на все свои обиды, поспешили выступить с выражениями лояльности, а их московская община поручила Каткову составить патриотический адрес Александру II.

Даже когда стало ясно, что внешней войны не будет — западные державы, как и прежде и как в будущем, ограничили свои усилия в пользу Польши дипломатическими протестами, — воинственный национализм сохранял власть над общественным мнением. Это вполне проявилось в приёме, оказанном генералу Михаилу Муравьёву.

В молодости заключённый в тюрьму за участие в тайных обществах, он едва избежал судьбы своих замученных родичей. С тех пор Муравьёв приобрёл репутацию жестокого и реакционного бюрократа, а в 1863 году был назначен в Литву, куда восстание перекинулось из Польского королевства. Даже на общем фоне безжалостной суровости, с которой власти расправлялись с повстанцами, поведение Муравьёва выделялось бессмысленным варварством.

Будучи военным губернатором Литвы, он приказал обращаться с захваченными партизанами как с преступниками, а не военнопленными; многие из них оказались на виселице или перед

⁴⁹ Цит. по: Н. А. Любимов, *Михаил Катков и его исторические заслуги* (Санкт-Петербург, 1889), с. 100

расстрельными командами. Он также применял политику насильственной русификации: польские помещики, даже не причастные к восстанию, лишались секвестром своих имений; крестьян католического обряда часто принуждали перейти в Русскую православную церковь. Он принадлежал к тем Муравьёвым, которые вешают, а не к тем, которых вешают, хвастался жестокий сатрап, и история должным образом увековечила его под именем Муравьёва-Вешателя.

Подавив восстание в своей губернии, Муравьёв по возвращении в Россию был встречен как победоносный герой. Общественное восхваление, обрушившееся на этого победителя партизанских отрядов и гражданского населения, превзошло всё, что прежде оказывалось самым выдающимся военачальникам России. Были высокопоставленные чиновники, такие как великий князь Константин и князь Суворов, которые отказались присоединиться к почестям «Вешателю», но их, в свою очередь, широко порицали за непатриотическую щепетильность. Сам он, обижаясь на такие пренебрежительные жесты, характеризовал людей, критиковавших его действия, как «космополитических последователей западных идей».

Личная карьера Михаила Муравьёва воплощает ту джекил-и-хайдовскую черту русского общества, которая столь явно проявилась в 1862–1863 годах. В юности он был революционером и талантливым интеллектуалом. Он обнаружил значительные научные способности и был одним из авторов устава Союза благоденствия. Превратившись в зрелые годы в верного слугу самодержавия, на вершине своей карьеры он стал жестоким угнетателем и ксенофобом.

Само правительство, до сих пор столь нерешительно и колеблющееся в своей политике между умиротворением и репрессией, теперь обратилось ко второй. К лету 1864 года восстание было подавлено. Сотни людей были казнены, тысячи приговорены к каторге и ссылке. А вскоре после усмирения Польши правительство, грубо нарушив свои прежние заверения западным державам, лишило несчастную страну последних остатков её автономного статуса.

Помимо непосредственных и катастрофических последствий для радикального дела в России, страдания Польши должны были оказать длительное воздействие на будущее революционного движения. Его видение революции оказалось миражом, и оставшиеся члены «Земли и воли» распустили свою уже фактически мёртвую организацию в начале 1864 года.

Как бы кратко и неэффективно ни было её существование, её наследие оказалось весьма значительным. Различные идеологические и тактические компоненты исчезнувшей организации — заговор, социализм, народничество — глубоко сохранились в русском радикализме, чтобы вновь появиться в разных сочетаниях в будущих революционных предприятиях. Уроки, извлечённые из неудачи «Земли и воли», повлияют на тех, кто пойдёт по её следам.

Долгое время революционное движение будет избегать открытого одобрения национального самоопределения нерусских народов внутри империи. Надежда на стихийное крестьянское восстание будет умирать медленно. Она станет повторяющейся темой народнического

движения 1870-х годов. В то же время будущие заговоры будут, как правило, и более радикальными, и более активистскими, чем их прототип. При всей своей насильственной риторике «Земля и воля» никогда не исключала возможности принять конституционную монархию как промежуточную ступень к своей конечной цели — социалистической и республиканской России. Последующие заговоры отвергнут возможность всякого компромисса с существующей системой. Они также будут более нетерпеливы в своём революционном пылу, станут вести более прямую и интенсивную пропаганду, а когда та потерпит неудачу, прибегнут к террору.

Хотя теперь императорское правительство могло чувствовать себя увереннее и могло позволить себе быть великодушнее, оно решило преподать интеллектуальному сообществу урок, который то не забудет. Продержав Чернышевского два года в тюрьме, власти наконец приговорили его к семи годам каторжных работ, а затем к пожизненной ссылке в Сибирь. Поскольку Третье отделение не смогло получить никаких доказательств вины писателя, кроме того факта, что он переписывался с лондонскими эмигрантами, его осуждение было обеспечено на основании подложных доказательств.

Как и другие политические преступники того времени, Чернышевский перед отправкой в Сибирь должен был публично пройти через жестокий обряд гражданской казни: стоя на коленях перед виселицей, узник принимал удар сломанной над его головой шпагой, после чего перед собравшейся толпой зачитывали приговор. Услышав эту весть, Герцен разразился проклятием не только против правительства, но и против общества, столь покорно принявшего мученичество своего недавнего кумира:

Пусть это преступление навлечёт проклятие на правительство, на общество, на эту мерзкую стаю журналистов, которые рукоплещут гонениям... будь то убийства военнопленных в Польше или приговоры, выносимые в России жестокими судьями и седыми негодьями Государственного совета... Наши поздравления Каткову и компании. Но как теперь чувствует себя их совесть? Чернышевского поставили к позорному столбу на пятнадцать минут, а вам и всей России — сколько ещё жить в позоре?.. И подумайте: десять лет назад мы приветствовали начало этого царствования.⁵⁰

В действительности, столь сурово наказав человека, которого оно считало ответственным за разращение молодого поколения, режим совершил не только несправедливость, но и политическую ошибку первостепенной величины. Как и популярность Герцена, огромная популярность Чернышевского не пережила бы патриотического безумия 1863 года; если бы его оставили на свободе и позволили печататься, он едва ли смог бы сохранить власть над умами молодёжи.

Теперь же история его мученичества будет поддерживать и укреплять решимость маленьких подпольных кружков, переживших крушение революционного дела; из одного из них выйдет первая попытка покушения на жизнь Александра II. «Что делать?» станет подлинной библией для последующих поколений русских радикалов, которые будут с восторгом выискивать в ней

⁵⁰ Колокол, 15 июня 1864 г.

завуалированные намёки на неизбежность революции и на радостную освобождённую жизнь после неё.

Несомненно, именно судьба автора повлияла на восприятие этого художественно беспомощного романа. В конце века, увидевшего появление «Евгения Онегина», «Войны и мира» и «Братьев Карамазовых», Георгий Плеханов, отец русского марксизма, сможет сказать, что «все мы черпали [из этого романа] нравственную силу и веру в лучшее будущее... С момента появления книгопечатания в России и донныне ни одно печатное произведение не имело такого успеха, как “Что делать?”»⁵¹

Дело Чернышевского служит хорошим примером того, насколько судьба России в этот решающий период её развития зависела от своеобразного сочетания событий и личностей. Путь к общественному примирению преградили не только пресловутые мрачные силы истории, но и неуклюжесть императорского правительства; вместо этого оно толкнуло страну на дорогу к революции. Вместо того чтобы вознаградить общество за его поддержку и патриотическое настроение в момент национальной опасности, режим предпочёл ещё раз напомнить своим гражданам, что Россия всё ещё, и в полной мере, остаётся полицейским государством.

Ирония состояла в том, что в то же самое время власти завершали подготовку двух реформ, которые при иных условиях могли бы иметь далеко идущие последствия в рассеянии враждебности интеллигенции к режиму. До 1864 года едва ли можно было сказать, что Россия имела судебную систему в собственном смысле слова. Теперь одним махом её правовые учреждения были перенесены из состояния, которое на Западе XVI века сочли бы анахроничным и невыносимым, в современную эпоху.

Масштаб реформы показывает следующее краткое резюме:

Судебная власть была отделена от исполнительной... В гражданских делах судебные органы были отделены от административных, в уголовных — от обвинения... Судебные процессы стали публичными как по уголовным, так и по гражданским делам. Судьи становились несменяемыми... Был учреждён институт прокурора, а также адвокатура, то есть независимая защита... Были также введены суды присяжных и новые апелляционные суды.⁵²

Суды присяжных, независимое правосудие, открытые процессы — трудно представить себе другую авторитарную систему, которая по собственной инициативе столь существенно ограничила бы собственные прерогативы и полномочия. Справедливости ради следует добавить, что правительство сохранило право административным распоряжением высылать людей, которых считало опасными для общественного порядка, в разные части империи. Кроме того, в делах о политических преступлениях оно время от времени прибегало к чрезвычайному законодательству и особым судам.

⁵¹ Георгий Плеханов, Сочинения (Москва, 1924), т. V, с. 115.

⁵² Татищев, т. I, с. 523.

После 1864 года судебная власть, в отличие от советской, по большей части действительно будет независима от политической власти, и даже во времена самой мрачной реакции русская адвокатура останется заметной своими высокими профессиональными стандартами и либеральным духом.

Менее сенсационным, но по своим потенциальным последствиям ещё более значительным был другой закон 1864 года, введивший местное самоуправление в этнически русских частях страны. Губернии и уезды получили выборные собрания, которые, хотя и были устроены с преимуществом для дворянства, включали представителей крестьян и горожан. Эти земства, как их называли, получили значительную компетенцию в вопросах образования, путей сообщения и здравоохранения.

По мнению большинства образованных русских того времени, конституционный строй был бы естественным завершением реформ. В 1865 году и собрание московского дворянства, и петербургское земство приняли резолюции, призывавшие императора созвать национальное собрание. Но, руководя ликвидацией многих атрибутов авторитарного общества, Александр II не желал отказаться от его самого необходимого признака.

Он, несомненно искренне, сказал одному оппозиционному дворянину, что в тот же день санкционировал бы конституцию и парламент, если бы не был убеждён, что это приведёт к «распаду России». ⁵³ Это был вариант старой темы: Россия не может быть свободной и одновременно оставаться единой и великой. Как повлияет конституционализм на Польшу и на рост национального сознания среди украинцев, уже тревоживший имперские власти и русских националистов катковского толка?

Если консерваторы считали, что конституция должна привести к распаду России — национальному и социальному, — то революционный лагерь боялся её ровно по противоположной причине. Если либералы победят, говорил Николай Ишутин, руководитель подпольной группы, называвшей себя просто «Организацией»,

положение народа станет в сто раз хуже, чем теперь, потому что они выдумают какую-нибудь конституцию... и сделают русскую жизнь похожей на западную; эта конституция найдёт поддержку среди средних и высших классов, потому что она гарантирует личную свободу и будет способствовать росту промышленности и торговли, но не предотвратит, а, напротив, облегчит рост пролетариата и пауперизма. ⁵⁴

«Организация», находившаяся в Москве, была частью обломков, оставшихся после «Земли и воли». Её примерно пятьдесят членов — все очень молодые, большинство бывшие студенты, оставившие университет по той или иной причине, — занимались организацией рабочих кооперативов и воскресных школ, где вели радикальную пропаганду. Но в ходе горячих обсуждений кружок также рассматривал возможность более прямого революционного

⁵³ Татищев, т. I, с. 534.

⁵⁴ М. М. Клевенский и К. Г. Котельников, ред., *Покушение Каракозова*, т. I (Москва, 1928), с. 8.

действия; некоторые участники выступали за убийства чиновников, вооружённые ограбления и шантаж богатых.

4 апреля Дмитрий Каракозов, двоюродный брат Ишутина, выстрелил в Александра II, когда тот совершал свою ежедневную прогулку в петербургском общественном саду. Последовал период общенациональной истерии и преследований всякого, кто хотя бы предположительно был связан с радикальным делом; этот период последующие историки, с некоторым преувеличением, назвали белым террором.

Члены ишутинского кружка были арестованы, и тридцать пять из них позднее осуждены, хотя так и не было установлено, что они знали о замысле Каракозова. Сам несостоявшийся цареубийца, хотя и психически неуравновешенный, был казнён. На разные сроки были задержаны несколько человек с радикальными связями из петербургской и московской литературно-журналистской среды. «Современник» был закрыт навсегда. Его прежний вдохновитель был кумиром фанатиков ишутинского кружка. В ходе следствия также было установлено, что его члены обсуждали, как освободить Чернышевского из Сибири, и планировали тайно переправить его за границу.

Единственный выстрел неуравновешенного человека имел и более длительные последствия. Если неудавшийся переворот декабристов открыл тридцать лет реакции, то дело Каракозова склонило чашу весов в пользу того, чтобы Россия оставалась скорее полицейским, чем конституционным государством. До него, несмотря на упрямство императора и другие силы, стоявшие на пути, просвещённый русский всё ещё мог надеяться, что сама инерция реформ доведёт страну до порога свободы.

Теперь позиции консервативного элемента внутри режима значительно укрепились, а позиции либерального — ослабли. Расследования и суд над Каракозовым и его товарищами действительно продемонстрировали существование того, что можно было бы назвать революционной контркультурой среди некоторых маргинальных групп интеллектуалов и молодёжи. Разумеется, основная масса интеллигенции и университетской молодёжи отреагировала на покушение с ужасом и поспешила выразить верность императору. И всё же режим продолжал видеть в интеллигенции потенциальный резервуар подрывной деятельности, а потому считал необходимым обращаться с ней твёрдо.

Верность режиму стала отождествляться с принятием status quo. Основная философия правящего истеблишмента хорошо выражена у Каткова, когда он писал:

Там, где в нашей национальной жизни что-либо зависит от народа, мы с Божьей помощью совершаем настоящие чудеса. Но стоит нашей интеллигенции заговорить и начать действовать — мы начинаем шататься.⁵⁵

Интеллигенция, со своей стороны, если бы могла говорить одним голосом, ответила бы Каткову тем же комплиментом: именно неумелое и угнетающее правительство мешает

⁵⁵ М. Н. Катков, *Собрание передовых статей за 1878 год* (Москва, 1898), с. 154.

русскому народу реализовать свои замечательные возможности и несёт ответственность за тяжёлую, клаустрофобическую атмосферу русской жизни.

Куда ни взгляни, кроме политики, всюду был виден огромный прогресс. Освобождение наконец ввело Россию в индустриальную эпоху. Начался железнодорожный бум, в страну вливался иностранный капитал, повсюду возникали банки и фабрики. В культурном отношении нация переживала свой самый славный период: её литература и искусство бесспорно находились в авангарде европейских.

Тем мучительнее был факт, что этому талантливому народу не позволяли иметь голос в управлении собственной страной; что русские были лишены тех свобод и прав, которые на Западе считались само собой разумеющимися и которые даже такая примитивная страна, как Болгария, освобождённая русским оружием, даровала своим гражданам. Эти поразительные контрасты объясняют, почему средний образованный русский теперь острее чувствовал политическое отчуждение, чем даже при Николае. Весь огромный социальный прогресс предшествующего десятилетия не складывался в гражданскую свободу; напротив, он делал её отсутствие ещё более вопиющим и унижительным. Россия, казалось, была навеки обречена оставаться вне главного потока политического прогресса, всегда приёмным ребёнком европейской цивилизации.

Разочарование интеллигенции заставляло её терпимо относиться к экстремистам и придавать им значение, далеко превосходившее их численность и то, что они собой представляли. Респектабельные адвокаты, профессора, врачи, даже некоторые бюрократы, сами вовсе не желавшие свержения режима, тем не менее могли снисходительно смотреть на революционеров и их деятельность. Возможно, случайный акт насилия был единственным способом встряхнуть правительство, вывести его из самодовольства и заставить отвечать на стремления общества.

Некоторые доводили эту терпимость до того, что наполовину оправдывали действия, явно переходившие границу между политическим фанатизмом и откровенной преступностью, как в случае Нечаева и его кружка. [Будучи руководителем группы революционеров под названием «Народная расправа», Сергей Нечаев в ноябре 1869 года приказал убить одного из членов этой группы и сам участвовал в убийстве. Это преступление привело к громким судебным процессам: над сообщниками Нечаева в 1871 году и над ним самим в 1873 году.] Никто не изобразил и не раскритиковал это отношение либеральной интеллигенции столь пронизательно и язвительно, как Достоевский в «Бесах», которые, по замыслу, являются художественным рассказом о деле Нечаева. И всё же сам великий писатель однажды признался другу, что не смог бы донести на революционера, даже если бы знал, что тот собирается взорвать Зимний дворец.

Главным течением русского радикализма тех лет было народничество — широкий термин, охватывающий как сторонников мирной пропаганды среди крестьян, так и тех, кто сочетал бы эту пропаганду с подстрекательством к революционному действию. Основные идеи народничества уже встречались у Герцена и Чернышевского: аграрный социализм,

основанный на крестьянской общине; желательность избавить Россию от прохождения через капиталистическую фазу; эгалитаризм.

Но теперь появились новые пророки. Пётр Лавров, бывший артиллерийский полковник, чрезвычайно влиятельный в начале 1870-х годов, призывал молодое поколение стать «деятелями прогресса»: люди из высших классов имели нравственную обязанность идти к крестьянам, учить их и помогать им, чтобы они поняли: они должны взять свою судьбу в собственные руки.⁵⁶

Более прямо революционным было послание другого изгнанника на Западе, ветерана анархизма Михаила Бакунина: крестьян следовало поднять на активную борьбу против правительства. На периферии народничества находились и другие, например Пётр Ткачёв, отвергавший идею подготовки революции посредством пропаганды, мирной или иной. Режим должен быть свергнут организацией профессиональных революционеров, и только после переворота придёт время внушать массам социализм.

Попытки поднять крестьянство, разумеется, не ограничивались радикалами. Со времени Освобождения мужчины и женщины всех политических убеждений стремились помочь обездоленным и, часто оставляя многообещающую и доходную карьеру, селились в деревне, чтобы работать учителями, врачами, акушерками и так далее. Но кульминация движения — так называемое «хождение в народ» 1874 года — несомненно была политически вдохновлена.

Более тысячи молодых людей из высших классов и интеллигенции отправились жить в деревни. Их целью было не только служить крестьянам в любом, сколь угодно скромном качестве, но и, работая рядом с ними, завоевать их доверие и объяснить им несправедливость существующего общественного и политического строя. Для большинства этот опыт оказался обескураживающим. То ли вследствие традиционной веры в царя, то ли из-за недоверия к господам, средний крестьянин оказался мало восприимчивым к пропаганде.

У вас могут быть тысячи и тысячи пропагандистов; всё равно вы не завоюете народ, не сдвинете его с места, — таков был приговор одного из участников хождения.⁵⁷ Правительству следовало бы прислушаться к этому уроку. Вместо этого власти, во многих случаях при содействии крестьян, арестовали свыше семисот молодых идеалистов; около двухсот из них в конце концов предстали перед судом.

Именно из ветеранов движения «в народ» революционные организации следующих лет будут черпать свои кадры. В 1876–1877 годах несколько из них объединились под знакомым названием — «Земля и воля». Если её одноимённая предшественница родилась мёртвой, то вторая «Земля и воля», хотя и ещё менее впечатляющая по численности — вероятно, никогда не более двухсот членов и попутчиков, — несомненно оказала влияние на политическую сцену.

⁵⁶ *Исторические бумаги* (Санкт-Петербург, б. г.), с. 386

⁵⁷ О. В. Аптекман, *Общество «Земля и воля» 1870-х годов* (Петроград, 1924), с. 178.

Её программа повторяла традиционные народнические цели и методы, такие как общинное владение всей землёй, пропаганда среди крестьян и тому подобное, но новый заговор вскоре обратился к террору как главному средству политической борьбы. При всех отдельных инцидентах прошлого, таких как дело Каракозова, русская политика до сих пор — и весьма примечательно для самодержавия — была свободна от терроризма. Теперь «Земля и воля», хотя и утверждала, что применяет насилие только в целях самообороны, осуществила ряд покушений — некоторые успешные — на правительственных чиновников и агентов.

В этом процессе заговорщики обнаружили, что несколько актов насилия гораздо эффективнее заставляют ощутить их присутствие, чем вся прежняя пропагандистская и агитационная деятельность народничества. «Пропаганда действием» — революционный эвфемизм для террора — казалась проще, чем попытки преодолеть крестьянское равнодушие и инерцию.

Новая тактика поставила режим перед почти неразрешимой дилеммой. Нетоталитарному государству нелегко эффективно бороться с террористами. Аресты истощали их ряды, но, не поднимая репрессию до уровня, который после 1855 года был просто невыносим, царское правительство не могло надеяться уничтожить революционную группу, которая, при всей своей малочисленности, могла рассчитывать на постоянное пополнение из рядов отчуждённой молодёжи.

Споры внутри «Земли и воли» о том, какую роль должен играть террор в её деятельности и уместно ли народникам выдвигать политические требования вместо сосредоточения на пропаганде среди крестьян и рабочих, привели в 1879 году к её расколу на две группы. Одна, взявшая название «Народная воля», открыто приняла террористическую тактику и поставила перед собой честолюбивую цель — заставить режим даровать конституцию. Другая, назвавшая себя «Чёрный передел», придерживалась первоначальной народнической программы, но её главное значение состоит в том, что некоторые её участники в конце концов стали пионерами русского марксизма.

При своём образовании «Народная воля» предъявила ультиматум: если правительство не созовёт учредительное собрание, заговорщики начнут кампанию насилия, целью которой станет убийство императора. Следующие два года стали свидетелями фантастической дуэли между «Народной волей» и правительством могущественной империи, которое при всех своих огромных ресурсах не могло предотвратить несколько последовательных покушений на жизнь императора.

В действительности активное ядро «Народной воли» состояло всего примерно из сорока человек, хотя ради создания мифа — широко принятого на веру, — будто численность организации гораздо больше, эта крошечная группа называла себя Исполнительным комитетом. Ни усилия Третьего отделения, ни либеральное направление, которое Александр II придал своей администрации в надежде привлечь общественное мнение и подорвать скрытую симпатию, с которой часть интеллигенции относилась к провозглашённой революционерами цели, не смогли остановить неумолимую охоту.

По меньшей мере сомнительно, насколько сами заговорщики верили в желательность буржуазного парламентаризма для России или в возможность того, что учредительное собрание, которое, если бы было избрано демократически, отражало бы главным образом взгляды крестьян, поддержит их республиканские и социалистические идеи. В любом случае у режима не было никакого шанса созвать такое собрание. Всё, на что царь в конце концов был готов согласиться, — это введение некоторых выборных представителей в Государственный совет, который сам имел преимущественно совещательные функции.

1 марта 1881 года, с седьмой попытки, террористы наконец загнали свою жертву в угол: бомбовая группа «Народной воли» нанесла царю смертельные раны, когда он проезжал по улице Петербурга.

Перед нами ещё один пример того, насколько ход истории определяется случайными событиями и личностями. Предложенное покойным царём скромное открытие в сторону представительного правления было отменено его преемником Александром III. От убийства пострадал не только ход реформ. В течение следующих двух лет оставшиеся члены «Народной воли» были выловлены полицией. Абсолютистско-бюрократический режим получил новую отсрочку, и в следующие двадцать лет ему не будет серьёзно брошен вызов ни революцией, ни реформой.

Как бы ни потускнел ореол Царя-Освободителя из-за событий после 1863 года, общество отреагировало на его убийство с отвращением, а на консервативный, даже ретроградный характер нового царствования — с покорностью. «Россия есть самодержавие, ограниченное убийством», — гласила знаменитая фраза. На деле террор помог продлить анахронизм самодержавия.

И всё же, как показывает история 1855–1866 годов, самым основным препятствием для движения к свободе была тогда — как и теперь — своеобразная природа русского национализма: национализма, составленного из психологических черт одновременно угнетённой и имперской нации. И потому в решающие моменты не только правительство, но и русское общество оказывалось неспособным ясно выбрать свободу, если её цена, как казалось, заключала в себе угрозу единству и величию страны.